

*Я помню его
таким...*

**ВЛАДИМИР
БУШИН**

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛЖЕНИЦЫН

ГЕНИЙ ПЕРВОГО ПЛЕВКА...

Я помню его таким...

Владимир Бушин

**Неизвестный Солженицын.
Гений первого плевка**

«Алгоритм»

2018

УДК 821.161.1.09 Солженицын А.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6 Солженицын А.

Бушин В. С.

Неизвестный Солженицын. Гений первого плевка / В. С. Бушин —
«Алгоритм», 2018 — (Я помню его таким...)

ISBN 978-5-906914-96-5

Крупнейшие русские писатели, современники Александра Солженицына встретили его приход в литературу очень тепло, кое-кто даже восторженно. Но со временем отношение к нему резко изменилось. А. Твардовский, не жалевший сил и стараний, чтобы напечатать в «Новом мире» никому не ведомого автора, потом в глаза говорил ему: «У вас нет ничего святого...» М. Шолохов, прочитав первую повесть литературного новичка, попросил Твардовского от его имени при случае расцеловать автора, а позднее писал о нем: «Какое-то болезненное бесстыдство...» То же самое можно сказать и об отношении к нему Л. Леонова, К. Симонова... Прочитав книгу одного из самых авторитетных публицистов нашего времени Владимира Бушина, лично знавшего писателя, вы поймете, чем пожертвовал Солженицын ради славы.

УДК 821.161.1.09 Солженицын А.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6 Солженицын А.

ISBN 978-5-906914-96-5

© Бушин В. С., 2018
© Алгоритм, 2018

Содержание

Напутствие	6
Письмо из Рязани, отправленное в Москве	11
Капля в наводнении	13
В ожидании радости	17
Читатели видели зорче	19
Куда он хотел тянуть?	21
Лучшие сорта жизни	24
Солженицын и Достоевский	35
Фома Опискин и диалектика	39
И жизнь, и любовь, и смерть – по плану!	47
Игра в жмурки со всевышним	49
Трагедия попки, обманутого в любви	53
Благоговейный восторг Бернарда Левина, знатока Руси	59
Нобелевский лауреат против инспектора райпо	61
Атаман Платонов. Михневская область. Восточнопрусская Эльба	63
Гибрид банана с огурцом	65
«Какой, однако, убийца!..»	67
Потрошитель мировой культуры	69
Что бы сделал Толстой, попадись ему Солженицын?	74
Теневая сборная СССР по прозе	81
Не вынес даже Абрам Терц...	83
Слезы в Севастополе и плач в Рождестве-на-Истье	84
Загадка ареста Солженицына	86
Дозировка смелости	93
«Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне...»	98
Конец ознакомительного фрагмента.	101

Владимир Сергеевич Бушин

Неизвестный Солженицын.

Гений первого плевка...

© В. Бушин, 2018

© ООО «ТД Алгоритм», 2018

* * *

*Отмываться всегда трудней, чем плюнуть. Надо уметь быстро и
в нужный момент плюнуть первым.*

*Александр Солженицын,
академик, Нобелевский лауреат,
кредо которого «жить не по лжи!»*

Напутствие

1

Москва широко отметила восьмидесятилетие А.И. Солженицына. По телевидению было показано несколько фильмов-сериалов о юбиляре, в Театре на Таганке состоялась премьера спектакля по роману «В круге первом», в Большом зале консерватории и в Зале Чайковского прошли концерты-подарки живому классику, президент наловчился было повесить на шею писателю самый великий орден ельцинской эпохи, пронзительный спич об Александре Исаевиче произнес по тому же телевидению Эдвард Радзинский, всех россиян призвали читать и перечитывать его Альфред Кох и Борис Немцов, теплое слово сказал Григорий Явлинский, в газетах появилось множество статей и т. д.

Однако нам представляется, что в этих многочисленных акциях некоторые особенности уникальной личности и необыкновенного писателя, к сожалению, не были освещены с необходимой ясностью и полнотой. Движимые желанием восполнить досадный пробел, мы предлагаем вниманию читателей сей труд, посвященный знаменитому соотечественнику.

Январь 1999 г.

2

Есть в русском языке слова, термины, выражения, которые, казалось бы, всегда несут в себе только добрый смысл, только «положительный заряд». Во всяком случае, именно так многие воспринимают, например, слово «писатель» или выражение «властитель дум». Это обнаруживается, в частности, в тех случаях, когда тот или иной автор осуждает за что-то того или иного писателя и берет слово «писатель» в кавычки, желая этим сказать, что никакой, мол, он не писатель. Но это неверно. Нравится он нам или нет, хороший или плохой, талантливый или бесталаный, но если человек занимается литературным трудом, пишет книги, то он писатель, – хоть ты тресни! Это просто род занятий, профессия. То же самое можно сказать о выражении «властитель дум». В сборнике Н. Ашукина и М. Ашукиной «Крылатые слова» (М., 1966) о нем сказано: «В литературной речи оно применяется вообще к великим людям, деятельность которых оказала сильное влияние на умы их современников». Слово «великим» как бы содержит намек на положительный смысл выражения. Но ведь и само понятие «великий» неоднозначно. Более четкое, т. е. «нейтральное», «чистое», определение дано в 17-томном академическом Словаре русского литературного языка (М., 1951): «Властитель дум, сердец, настроений и т. п. – человек, привлечший к себе исключительное внимание современников, политический деятель, писатель, философ и т. п., оказавший большое влияние на общество». Тут ни о каком величии властителя не говорится, и правильно. В упомянутом словаре «Крылатые слова» утверждается, что выражение «властитель дум» восходит к строкам пушкинского стихотворения «К морю»:

О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в морской пустыне
Мою бы душу поразил.
Одна скала, гробница славы...

Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.
Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум...



Александр Исаевич Солженицын – писатель, публицист, общественный и политический деятель, лауреат Нобелевской премии. 1970 г.

Другой, как известно, – Байрон. И если великий поэт, как властитель дум современников, вне сомнения, то можно ли так назвать и Наполеона? Ведь он вызывал не только восторги и похвалы, но и проклятия, презрение, насмешки. Чего стоит хотя бы один только его иронический образ в «Войне и мире» Толстого. Но даже ирония Толстого тут ничего не может изменить: бесспорно, Наполеон был властителем дум современников. Во время войны или вскоре после нее кто-то написал такую вот затейливо-каламбурную по рифме, но справедливую, по сути, эпиграмму на Пастернака:

Хоть ваш словарь невыносимо нов,
Властитель дум не вы, но Симонов.

Да, именно Симонов во время войны был самым популярным поэтом, самым сильным властителем дум современников, особенно русской молодежи, несмотря на то, что покойный Леонов считал, будто «у него нет языка», а здравствующий Николай Дорошенко объявил его бесталанным евреем.

Эта книга вышла в серии «Властители дум», и речь в ней идет об Александре Солженицыне. Автор относится к своему герою гораздо менее терпимо, чем Толстой – к Наполеону, чем Дорошенко – к Симонову, но он признает, что Солженицына вполне можно считать властителем дум своего времени, ибо его сочинения были изданы огромными тиражами в России и во многих странах мира, о нем возникла целая литература, над созданием которой трудились и француз Жорж Нива, и русский Виктор Чалмаев, и английский еврей Михаил Геллер, и другие авторы. «Литературная газета» установила «Год Солженицына», в течение которого напечатала огромное количество хвалебных статей о нем, театры (даже Малый!) ставили инсценировки по его сочинениям, его избрали в Академию, наградили высшим орденом страны и т. д. В результате всего этого, как сказано в упомянутом словаре, он «оказал большое влияние на общество». более того, Солженицын явился родоначальником, толчком того нравственного обвала и разложения, той деградации общества, что ныне мы видим на родной земле. Если у читателя хватит терпения и мужества осилить эту книгу, то, думаю, он убедится в справедливости такой оценки.

Сентябрь 2003

3

Эта книга под разными названиями издается четвертый раз. Состав ее несколько менялся. Так, в первом издании был раздел об академике А.Д. Сахарове, который в последующие издания не вошел.

Книга сложилась из статей, публиковавшихся с 1992 года по 2008-й включительно в журналах, альманахах и газетах Москвы, Ленинграда, Воронежа, Омска, Красноярска.

Статейным происхождением книги объясняется наличие в ней разного рода повторов. Кого-то это будет раздражать. Я думал: хорошо бы их опустить. И кое-что убрал, но часто это нарушает цельность статьи, ставшей главой книги. Но, как правило, повторяются наиболее существенные фрагменты. Так, может быть, учитывая, сколь быстро в нынешней сумбурной жизни легко забываются даже самые важные события, имена, факты, может, и полезно кое-что повторять? Наконец, есть же песни, в которых после каждого куплета повторяется припев. Вот и считайте, читатель, что это припевы в моей длинной и, надеюсь, не слишком скучной песне о Солженицыне.

Все, за исключением трех глав в конце настоящего издания, печаталось в периодических изданиях и в книгах при жизни Солженицына, и он сам, и его довольно многочислен-

ные и пламенные почитатели, в частности, и весьма высокопоставленные, имели полную возможность ответить на критику – на что-то возразить, что-то опровергнуть, в чем-то уличить автора. Но писатель только один раз воспользовался такой прекрасной возможностью демократии. Когда он в 1994 году ехал из Владивостока в Москву, в Омске ему показали незадолго до этого опубликованную в газете «Омское время» мою статью «Загадка ареста Солженицына». И он, как мне сообщили тогда же, воскликнул: «Ах, Бушин! Я его давно знаю... Змея!.. Змея!..». Для плодотворной творческой дискуссии этого маловато. Тем более, что змеями, хамелеонами, скорпионами нобелевский лауреат именoval многих, очень многих нелюбезных ему литераторов. Кроме того, можно заметить, что когда-то помянутую змею он шибко нахваливал.

Не воспользовалась возможностью демократии и выдающаяся демократка Людмила Сараскина. В ее огромном сочинении «Александр Солженицын» (935 увесистых страниц!), вышедшем в этом году в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия», не нашлось места ни для единого возражения или хотя бы замечания о моих публикациях, кишмя кишаших горчайшими упреками герою ее саги.

И уж совсем странно, что в биографическом словаре «Русские писатели XX века» (М., 2000), где о Солженицыне самая большая статья из всех, в приложенном перечне публикаций о писателе из моих работ не указана ни одна. А ведь это – «Научное издательство Большая российская энциклопедия». Перечислены публикации только почитателей: Г. Белль, В. Потопов, А. Немзер, Н. Левитская, Г. Фридлендер, П. Спиваковский, Г. Шурман, Д. Штурман... А вот как энциклопедически обошлись с Владимиром Лакшиным: статьи «Иван Денисович, его друзья и недруги», в которой критик нахваливал и защищал писателя, указана, а статьи «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», где он давал отповедь наконец разгаданному гению, нет... В таком странном мире мы оказываемся сразу, как только прикасаемся к этому небывалому явлению – Солженицын.

Октябрь 2008

Письмо из Рязани, отправленное в Москве

Утром 19 мая 1967 года, в пятницу, я получил по почте письмо – невзрачный бледно-желтый конверт. Мой адрес сиял на нем великолепной точностью и исчерпывающей полнотой, как жемчужная нить на шее простужки: тут и буквенно-цифровое обозначение почтового отделения (шестизначные индексы еще не были введены); и «ул.», поставленное, как полагается, перед названием улицы, а не после; и мое имя-отчество – целиком, безо всяких усечений. Адрес был напечатан на машинке, и выразительные возможности машинки использованы до конца: слово «Москва» отстукано большими буквами и вразрядку, моя фамилия – тоже вразрядку, но обычными буквами, а два слова, составляющие имя-отчество, размещены немного ниже так точно, что левее фамилии выступало пять букв (Влади...) и правее – тоже ровно пять букв (...евичу).

Эта тщательная обдуманность, дотошность, педантичность даже в написании адреса были мне хорошо знакомы, я уже знал, от кого письмо. Можно было и не смотреть на обратный адрес (он, конечно же, тут имелся, аккуратно отделенный от моего адреса темной чертой-отбивочкой), но я все-таки взглянул: «Рязань, 12, проезд Яблочкова, 1, кв. 11». Конечно, именно «проезд», а не «пр.», которое, чего доброго, кто-то примет за «переулок».

Да, адрес именно тот, что я и ожидал. Он был мне известен уже несколько лет, еще с тех пор, когда проезд Яблочкова назывался Первым Касимовским переулком. Зачем уничтожили хорошее и, видимо, географически целесообразное название (должно быть, по переулку пролегал путь в город Касимов), почему дали переулку имя не кого-то другого, а П.Н. Яблочкова, это, как нередко у нас, никому не известно. В самом деле, Яблочков вроде бы к Рязани и отношения никакого не имел: родился в Саратовской губернии, учился в Николаеве, в Петербурге, работал в том же Петербурге, в Москве, в Париже, умер в Саратове. Ну, правда, электрический свет, для усовершенствования которого Павел Николаевич так много сделал, в Рязани действительно наличествует.

Тогда в ответ на мое сочувствие по поводу переименования мой рязанский корреспондент писал мне: «Да, переименование улицы и меня не порадовало, но есть надежда переехать в другую квартиру: три года просил в Рязани¹ – не давали, тогда попросил в Москве – и кинулись давать в Рязани» (архив автора). Кинулись-то, может, и кинулись, да, видно, на пути что-то задержало: прошло уже больше года, а адрес – я видел теперь – оставался прежним. Это, естественно, вызвало сочувствие. еще бы, человек прошел всю войну, за справедливую критику Сталина отсидел восемь лет в лагерях, стал известным писателем, а у него нет достойной квартиры!

Были и другие причины для сочувствия: я считал в то время, что наши взгляды совпадают не только по вопросам топонимики. Правда, меня тогда несколько смутило, как неожиданно он отозвался на переименование Касимовского переулка: мол, не обрадовало, но я переезжаю на другую улицу. Выходит, лишь бы не жить мне на улице с неудачным названием, а что там в городе, что там на карте страны – не мое дело...

Я хотел было уже взрезать конверт, как вдруг заметил странную вещь: в обратном адресе имя адресата отсутствовало. Разве так случалось прежде? Никогда! Может, просто забыл? Ну! При его-то дотошности? Я пригляделся к почтовым штемпелям. Письмо отправлено вчера, 18 мая, в девять часов вечера, то есть чуть больше полусуток тому назад. И за это время оно пришло из Рязани? Темпы для нашей почты немыслимые. Да, но вот факт же... Впрочем, нет. Письмо, оказывается, опущено здесь, в Москве, на Центральном почтамте – там, надо думать, письма сортируются быстрее, чем где-либо. Словом, как видно, все сделано для того,

¹ Архив автора.

чтобы письмо я получил возможно скорее. Зачем? И почему же все-таки не стоит там, где ему положено стоять, имя? Для конспирации? С какой целью?..

Я взрезал конверт. В нем оказалось три листа, заполненных машинописным текстом, – два обыкновенных и один половинный. На этом половинном я прочитал:

«17.5.67

Уважаемый Владимир Сергеевич! Наша прошлая переписка побуждает меня послать это письмо и Вам».

Ах, вот оно что! Значит, это только «сопроводилка» к основному тексту. Я нетерпеливо заглянул в самое начало этого текста, там стояло:

«ПИСЬМО IV ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. (вместо выступления) В президиум съезда и делегатам – Членам ССП – БУШИНУ В.С. Редакциям литературных газет и журналов...» Ого, ничего себе размах! Сдерживая любопытство, я вернулся к «сопроводилке»: «Определю свое намерение искренне: пусть это письмо напомнит Вам, что и перед Вами в литературе (в жизни) стоит выбор и не бесконечно можно будет Вам его откладывать (как, мне кажется, вы пытаетесь). Желаю Вам – лучшего.

*Солженицын*².

За машинописной подписью стояла хорошо знакомая короткая подпись, сделанная шариковой ручкой, – вся состоящая из острых углов и завитушек: АСолж. Письмецо в четыре с половиной строки вместило многое: и укор, и предостережение, и призыв, и упоминание о прошлом, и пожелание на будущее. Меня прежде всего остановили слова «наша прошлая переписка». Никогда раньше мне не приходило в голову окинуть ее единым взглядом и сделать из этого какой-то вывод. Я задумался. Наша переписка....

² Архив автора.

Капля в наводнении

Подобно многим, я впервые услышал об Александре Солженицыне осенью 1962 года. По литературной Москве ходили слухи, что в журнале «Новый мир» вот-вот появится повесть, написанная сим дотоле совершенно безвестным человеком, что повесть посвящена тому, о чем тогда так много и горячо говорили, – злоупотреблениям властью, нарушениям законности во времена Сталина; что автор сам оказался жертвой этих злоупотреблений; что, наконец, небольшая вещь эта производит сильное впечатление. Повесть – она имела скучноватое название «Один день Ивана Денисовича» – действительно появилась в ноябрьской книжке журнала и вызвала наводнение хвалебных статей и рецензий.

У авторов этих статей и рецензий, как и у читателей, представление о А. Солженицыне складывалось тогда по его повести да по тому, что несколько позже он сам стал охотно говорить и писать о себе: боевой офицер-артиллерист, провоевавший всю войну командиром батареи; невинно пострадал за критику Сталина; был осужден и срок заключения отбывал в тяжелейших условиях, подобных тем, что описаны в повести; выйдя на свободу, стал пером писателя разоблачать былые нарушения законности и бороться со всяческой несправедливостью, – можно сказать, идеальный героический образ страдальца за правду и ее радателя. Ничего удивительного, что такой человек, такой писатель вызывал у многих и большой интерес, и искреннее сочувствие.

Все так. Однако нельзя сказать, что помянутое статейно-рецензионное наводнение было таким уж совершенно непредвиденным и необузданным стихийным явлением, как, например, петербургское наводнение, описанное Пушкиным в «Медном всаднике», где есть и такие строки:

Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон
Печален, смутен вышел он
И молвил: «С Божией стихией
Царям не совладать». Он сел
И в думе, скорбными очами,
На злое бедствие глядел...

Солженицынское литературно-критическое наводнение 1962–1963 года в значительной степени было – что неудивительно – плановым, и с иных высоких «балконов» на него смотрели не скорбными очами и не скорбными устами молвили оттуда, что в повести Солженицына правдиво освещается действительность, что такие произведения воспитывают уважение к трудовому человеку и т. п.

Я оказался малой каплей в этом гигантском наводнении: в мартовской книжке «Невы» за 1963 год появилась моя обширная и довольно равнодушная статья о повести. Вовсе не заказанная, она была целиком в духе восторгов того времени. Журнал со статьей послал Солженицыну в Рязань. В его ответе 27 мая 1963 года между прочим говорилось: «О Вашей статье я слышал от Сергея Алексеевича Воронина³ еще в феврале. Саму статью прочел в прошлом месяце. Нахожу ее весьма интересной и очень разнообразно, убедительно аргументированной»⁴. Я, конечно, порадовался похвале большой знаменитости, хотя сам не был в таком уж

³ С.А. Воронин был в ту пору главным редактором «Невы». – В. Б.

⁴ Архив автора.

восторге от статьи, и 4 февраля 1964 года писал Солженицыну, что в ней «по-моему, преобладают эмоции», что она лишь «в какой-то степени удалась мне»⁵.

Но находились люди, которые в отличие от автора повести и от меня самого считали мою статью вообще неудачной, даже вредной. Так, редакция «Невы» и я сам получили несколько писем-протестов. Вот одно из них.

«Ленинград. Д-63
Невский, 3
Отдел литературной критики
журнала «Нева».
«Уважаемая редакция!

В вашем журнале № 3 за 1963 г. напечатана статья В. Бушина «Насущный хлеб правды». Я бы хотел, чтобы вы передали это письмо Бушину. Я не критик, но хотел бы от имени читателей несколько слов сказать по поводу повести Солженицына. Правда, это немножко нескромно говорить так «от имени читателей», но я говорил со многими, и мнение у всех или почти у всех сходно с моим.

Я ничего не нашел в этой повести. Ваша объемистая статья, при всем Вашем желании хоть что-нибудь найти в Шухове (в главном герое. – В.Б.) тоже не помогла. Зачем из кожи вон лезть и доказывать то, чего на самом деле нет?

Не буду голословным. У меня есть брат. Он провоявал всю войну от первого до последнего дня войны стрелком-радистом, летал с известным Полбиным⁶, ныне покойным. Он много видел и пережил. Он пишет, правда, никуда ничего не посылал. По-моему, у него получается. По ряду причин – судьба трагическая – сейчас он в тюрьме. Но он остался даже там коммунистом – это я могу сказать с чистой совестью. Я сам коммунист. И вот почитайте, что он пишет, я передаю дословно: «Поговорим о другом. Первым долгом отвечу на несколько твоих вопросов. «Один день Ивана Денисовича» я, конечно, читал⁷. Нашумевшей книгой разочарован донельзя. Что в ней полезного, показательного? Ничего. Солженицын показал своего Ивана Денисовича борющимся за миску баланды и кусок хлеба. Безусловно, дума о хлебе насущном в таких условиях вполне закономерна и показать, рассказать о ней нужно, но разве в этом суть дела... Истина этой величайшей трагедии познается позже: есть люди, которые над этим упорно, кропотливо трудятся». А Вы, тов. Бушин, начали искать «толстовские и каратаевские нотки» вместе с Чичеровым⁸. Действительно, нашли что заметить. Я не виню Солженицына, человек написал как смог и то, что видел со своей колокольни, но зачем же шуметь об этом. Не стоит. Я хотел бы, если Вас это не затруднит, ответить мне и дать адрес Солженицына. Я бы ему кое-что отправил из написанного братом. О тюрьмах, культе там речи нет, он пишет о своих однополчанах.

С уважением Ильин Станислав Сергеевич.

6.07.63.

Киевская область, г. Борисполь, в/ч 10201».

⁵ Там же.

⁶ Полбин И.С. (1905–1945), генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Погиб в бою.

⁷ Интересно сопоставить это с заявлением А. Солженицына, сделанным на заседании секретариата Союза писателей СССР 22 сентября 1967 года: «Моей книги («Один день Ивана Денисовича») не дают читать в лагерях, ее не пропускали в лагеря, изымали обысками» (Солженицын А.И. Собр. соч. в 6 томах. Франкфурт-на-Майне, издательство «Посев». 1973, т. 6, с. 71).

⁸ Имеется в виду статья покойного критика И.И. Чичерова об «Одном дне Ивана Денисовича» (Московская правда, 8.12.1962), с которой я полемизировал в «Неве». – В. Б.

Я не ответил тогда на письмо С.С. Ильина, как и на другие подобные письма. Очевидно, главная причина этого состояла в моем решительном несогласии с зачеркиванием повести и в нежелании спорить по столь очевидному для меня вопросу. И сейчас, спустя много лет, я не согласен с зачеркиванием «Одного дня», но как было не прислушаться к предостережениям насчет излишнего шума!..

В издательстве «Художественная литература» о моей статье думали совсем иначе, чем С.С. Ильин. Там решили включить ее в ежегодный критический сборник о наиболее примечательных новинках советской литературы. еще бы! Ведь она оказалась замеченной «Литературной газетой». В большой статье «Гражданином быть обязан...», опубликованной на ее страницах, критик Лина Иванова высветила и процитировала то место статьи, где у меня весьма критически говорилось о главном герое повести: «Я хочу обратить внимание на тот печальный факт, что Шухов, человек богатых душевных возможностей, ведь все-таки в лагере кое с чем примирился, кое-что утерял. Одни критики писали об этом как-то глухо, будто стыдливо, хотя стыдиться тут нечего, надо разобраться. Другие утверждают даже, что Шухов-де «ни в чем нравственно не уступил». Это не так...

Писатель говорит, что Шухов уж и сам не знал, «хотел он воли или нет».

Приняв мою сторону в споре о главном герое, газета удовлетворенно заключала: «Серьезная озабоченность воспитанием гражданского самосознания в нашем современнике видна в выступлении В. Бушина»⁹. Разумеется, такая оценка не могла не споспешествовать издательскому успеху моей статьи. Более того, в «Новом мире» к тому времени появились другие произведения А. Солженицына, и в издательстве мне предложили дополнить мою «невскую» статью рассмотрением их, т. е. сказать некое обобщающее критическое слово о всем опубликованном в целом. Я охотно согласился, и в итоге у меня получилась весьма пространный работа.

Я сдал статью и укатил на юг в отпуск. Когда через месяц возвратился, то сразу после ласкового солнышка попал под ледяной душ: мой редактор Александр Коган¹⁰ сообщил мне, что директор издательства В.А. Косолапов выбросил мою статью из сборника, сославшись на соответствующее указание высоких инстанций. «Но я думаю, – стеснительно улыбнувшись, сказал он, – никаких указаний не было».

Мой многоопытный редактор дал мне совет позвонить тому самому лицу в ЦК, на которого директор издательства кивал как на запретителя моей статьи, – Д.А. Поликарпову. Совет был дерзкий, но я позвонил.

Позже Солженицын назовет ныне давно покойного Поликарпова «главным душителем литературы и искусства»¹¹. Так вот, когда «главный душитель» услышал от меня, что кто-то не желает печатать мою хвалебную статью о Солженицыне да при этом еще кивает на него, «душителя», он был взбешен. Долго шумел в трубке, ругался, негодовал, а кончил тем, что предложил мне немедленно написать докладную записку на директора издательства. Я поблагодарил его, однако, не желая скандала, докладную писать не стал.

Но все-таки что же мне было делать со статьей? Предложить ее в какой-то московский журнал я не решался, так как приблизительно на треть она уже опубликована в «Неве». Немного подумав, я послал ее в воронежский «Подъем», где тогда довольно часто печатался.

⁹ Литературная газета, 14.05.1963 г., с. 3.

¹⁰ Далее я в иных случаях позволю себе не называть имена некоторых лиц или буду ограничиваться их инициалами. Это объясняется главным образом тем, что А. Солженицын вначале предстал перед нами в одном облике, а позже – совсем в ином, отношение к нему, естественно, менялось, и было бы, конечно, несправедливо теперь предъявлять к кому-либо претензии за изначальное, давнее отношение к нему. В других немногочисленных случаях умолчания полных имен я надеюсь на деликатное понимание читателя. – В. Б.

¹¹ Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни. YMCA-PRESS, Paris, 1975, с. 71. В дальнейшем – «Теленок».

В пятом номере за сентябрь-октябрь 1963 года она там, наконец, и увидела свет благодаря содействию Анатолия Жигулина.

В ожидании радости

И на сей раз мое выступление оказалось замеченным. В частности, та же «Литературная газета» в редакционной статье «Пафос утверждения, острота споров» опять поощрительно писала, что у меня «рассматриваются как сильные, так и слабые стороны творчества писателя. Критик, решительно споря с концепцией «праведничества», проявившейся в рассказе «Матренин двор», ратует за подлинных героев, героев-борцов, не склонных смиряться с несправедливостью и злом. «Без них-то и не стоит село. Ни город, ни вся земля»¹². Да, этими словами заканчивалась моя статья, и ратовать-то я ратовал, но мое выступление не было неким объективно-беспристрастным, логически-безупречным и взвешенно-безукоризненно-мудрым анализом, как это можно понять из статьи «Литературной газеты». Нет, хотя я и не мог сказать вместе с критиком Владимиром Лакшиным, что «выдающийся талант автора был принят мной сразу, без оговорок и целиком»¹³, хотя у меня даже нашел место спор с писателем по некоторым вопросам, но в целом похвалы сильно преобладали над несогласием и критикой.

Сам Солженицын понял это лучше газеты. В его письме от 2 января 1964 года я читал: «Хвалить того критика, который хвалит тебя, – это звучит как-то по-крыловски. Тем не менее должен сказать, что эта Ваша статья кажется мне очень глубокой и серьезной – именно на том уровне она написана, на котором только и имеет смысл критическая литература. Особенно интересен и содержит много меткого раздел о «Кречетовке»¹⁴. Жаль, что из-за тиража журнала его мало кто прочтет. «...»

Много интересного и для нашей литературы полезного в том, что Вы пишете, противопоставляя «эстетику песчинок» и «эстетику самородков»... и т. д. Между тем в январе 1964 года газеты опубликовали список произведений, выдвинутых на Ленинскую премию. Список был довольно обширным. Здесь стояли рядом новые произведения писателей разных республик: Айбека, Ашота Гарнакерыяна, Олеся Гончара, Георгия Гулиа, Мирзы Ибрагимова, Егора Исаева, Кайсына Кулиева, Леонида Мартынова, Ивана Мележа, Леонида Первомайского, Василия Пескова, Бориса Полевого, Бориса Ручьева, Галины Серебряковой, Сергея Смирнова, Назыма Хикмета, Александра Чаковского. В этом списке красовалась и повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Почему-то никто не посчитал тогда странным, что в числе тех, кто выдвинул повесть на премию, помимо Центрального литературного архива (ЦГАЛИ), оказался и журнал «Новый мир», опубликовавший повесть. Выдвигал на премию, так сказать, собственную продукцию. Посмотрите, мол, что за прелесть мы напечатали – за это непременно надо премию!

Вскоре после появления помянутого перечня я написал для Агентства печати «Новости» обзорную статью о произведениях, выдвинутых на премию. Естественно, что о повести «Один день» в статье говорилось весьма одобрительно. О ее авторе там можно было прочитать, в частности, и такое: «Мне представляется чрезвычайно интересным и характерным (для литературы того времени. – В.Б.), что даже Александр Солженицын, который, казалось бы, прочнее, чем кто-либо другой, зарекомендовал себя «поэтом буден», причем буден не «прекрасных и ясных», а трудных, сложных, мучительных, Солженицын отнюдь не считает это «амплуа» навсегда для себя предопределенным». В доказательство я ссылался на следующие его слова в одном из писем ко мне: «Нам надо учиться видеть красоту обыденного. Но если говорить совершенно общо, я бы заметил, что иногда материал подсказывает искать истину не через обыденное, а через самое яркое и даже ни на что не похожее, исключительное». Разумеется, это

¹² Литературная газета, 12.XII.1963 г.

¹³ Лакшин В. Солженицын, Твардовский и «Новый мир» // Альманах «XX век». Лондон, 1976. С. 153.

¹⁴ Имеется в виду рассказ «Случай на станции Кречетовка». – В. Б.

так. И я делал вывод: «Думается, в этом заявлении залог радостных неожиданностей, которые мы можем ожидать от интересного писателя». Неожиданности вскоре и последовали, правда – не шибко радостные.

Вполне возможно, что, рассуждая об исключительном в литературе, мой корреспондент держал в уме повесть «Раковый корпус», над которой он тогда работал: там он действительно «искал истину» через совершенно исключительное – через палату обреченных на смерть раковых больных. Знать об этих «поисках» я, конечно, не мог.

Читатели видели зорче

Мою статью напечатали многие газеты – от «Правды Севера» (Архангельск) до «Новороссийского рабочего», от «Орловской правды» до «Правды Бурятии».

И я опять получил несколько несогласных и даже протестующих писем. Вот одно из них с некоторыми сокращениями:

«Москва, Информационное агентство АПН,
литературному критику Вл. БУШИНУ.

Уважаемый товарищ Бушин!

Не знаем Вашего точного адреса и пишем это письмо в агентство АПН – в надежде, что московские связисты доставят письмо и оно попадет лично Вам.

Лично я и мои товарищи, любители русской литературы, уважающие ее за боевой и воспитательный характер, за персонажей и героев произведений, у которых можно поучиться нам, простым читателям, – не можем согласиться с такой высокой оценкой повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», включенной в число лучших произведений советской литературы 1963 года.

По простоте душевной нам думалось, что присуждение высшей награды – Ленинской премии – дается за действительно идейно и художественно самые зрелые и совершенные произведения, за такие, которые имеют большое воспитательное значение для нашего поколения – для молодежи, для которой и пишутся и печатаются все книги. Но разве повесть А. Солженицына является действительно таким произведением? Разве повесть эта обогащает нашу советскую литературу?.. Словом, у нас возникло много вопросов, связанных с неправомерным выдвижением повести А. Солженицына на высшую награду.

Мы никак не можем согласиться с таким «перехваливанием» этой повести, имевшей разовое значение, на шумевшей именно в период увлечения нашей интеллигенции критикой «культ Сталина».

В момент появления повести известный поэт А. Твардовский расценил ее новым «шедевром» советской прозы, а за ним начали так перехваливать эту повесть, сделали из нее «сенсацию», что многие читатели хотели сами в ней разобраться и расхватывали журнал «Новый мир» и «Роман-газету». А люди, так или иначе обиженные и пострадавшие, кричали истошно: «Мы же говорили, что правды не было и теперь нет!» Повесть оживила антисоветские элементы и давала оправдание чуждых нам взглядов. Это было вначале именно так!

Но советские читатели самостоятельно разобрались в содержании этой «сенсационной» повести и не нашли в ней положительного и воспитательного значения, а теперь ее уже перестали читать, а перечитывать едва ли кто будет. Теперь в библиотеках уже повесть почти не спрашивают. Время «сенсации» на критику Сталина прошло или почти проходит. Ведь люди убедились, что нельзя же до без конца сваливать все наши непорядки на «культ Сталина». Надо же и самим отвечать. Вот почему никакое новое «восхваление» этой повести не возродит ее незаслуженную славу. Успех повести носит случайный характер, она не обогащает нашу литературу. Таково соображение рабочих читателей этой повести. Рабочий Виктор Иванов из Мелитополя в письме, опубликованном 29 декабря (1963 года. – В.Б.) в «Известиях», развенчал досужих критиков, которые возвели героя повести Ивана Денисовича в ранг «народных героев», и показал, что этот «герой» не олицетворяет советского человека. Другая заметка рабочего из Таллина товарища Молчанова (напечатана в «Литгазете») тоже утверждает, что главный герой и вся повесть не имеют того значения, какое критики приписывают этому произведению.

Эти мысли читателей правильные, но ведь попали в печать пока только единицы таких отрицательных отзывов: печатаются только положительные отзывы (вроде Вашего расхваливания повести). Мы от группы десятка читателей писали отзывы в несколько газет, но нам даже не отвечают. Почему?

...А между тем теперь журнал «Новый мир», чтобы оправдать печатание повести, и особенно его редактор А. Твардовский снова непомерно расхваливают повесть. Даже на симпозиуме в Ленинграде (судим по печати) непомерно расхваливал повесть и ставил ее в один ряд с трудами Льва Толстого. А критики тоже продолжают такое перехваливание и не хотят считаться с большинством читателей, особенно из среды трудовой и рабочей. Прямо для нас это удивительно! «Анна Каренина» и «Матренин двор» А. Солженицына! Нас все это не только удивляет, но и приводит к мысли, что среди нашей интеллигенции продолжает царить «корпоративный дух». Это весьма печально, что голоса читателей публикуются только те, в которых выражены похвальные отзывы, и не печатаются такие, которые идут вразрез с «авторитетами», например, с перехвалившим повесть поэтом Твардовским. Даже агентство АПН (Вы выступате от его имени) не хочет дать неллицеприятную критику и оценку и без всякого учета настроений и оценок читателей – непомерно хвалит повесть!.. Уму непостижимо!!! Может быть, Вы ответите нам?

С уважением к Вам, И. Чебунин.

Архангельск, ул. Карла Либкнехта, дом 19, кв. 9».

Как нетрудно видеть, главное в письме – протест против односторонней перехваливающей оценки повести и против невозможности высказать публично, в печати, иной взгляд на нее. В этом мой корреспондент был совершенно прав. Странно допустить, что из критиков и писателей, хваливших повесть, я лишь один получал подобные письма. Конечно же, наверняка получали и другие, но выхода в печать они долго не имели почти никакого.

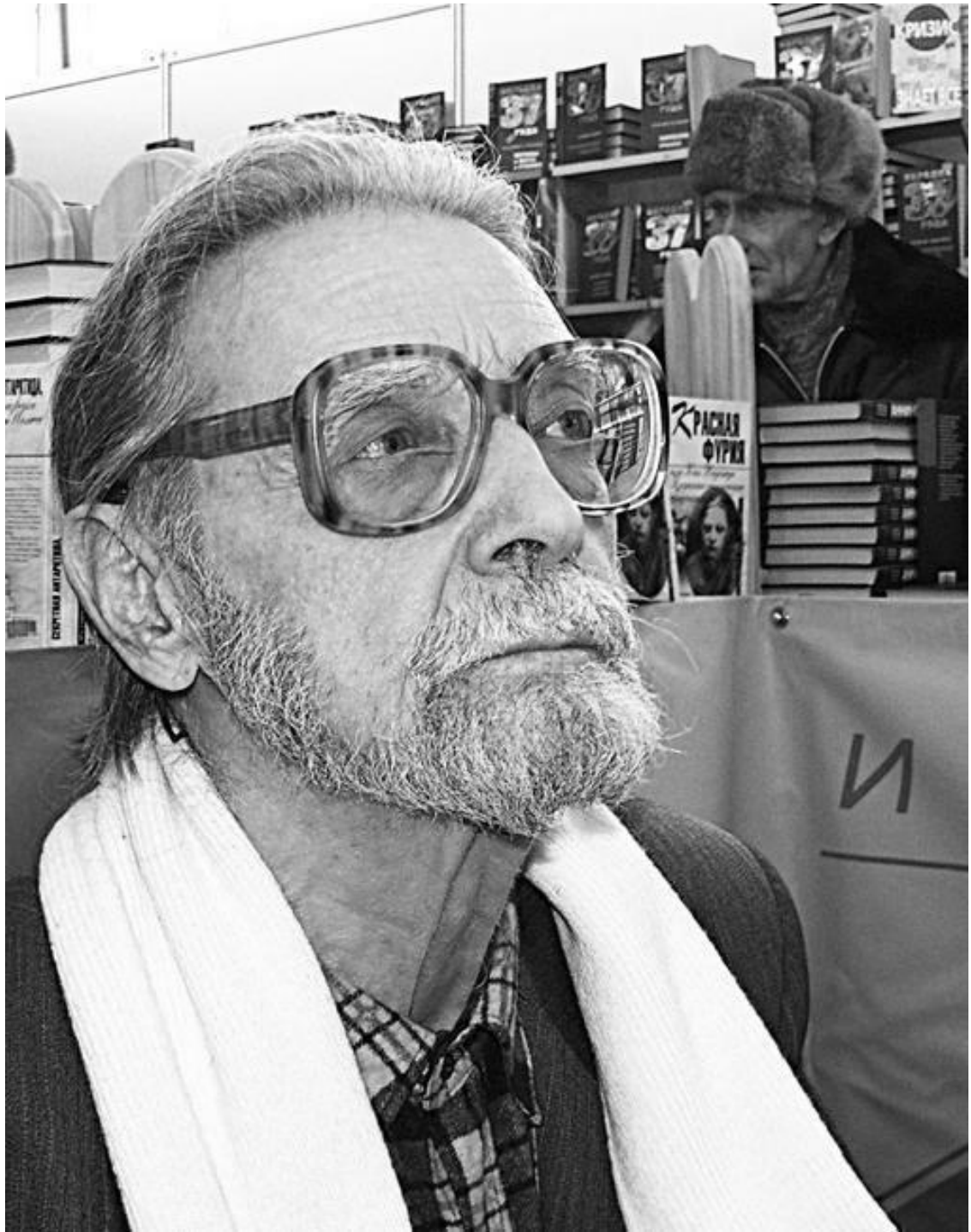
Куда он хотел тянуть?

...А время шло. Мы продолжали иногда обмениваться письмами, делились разного рода литературными и житейскими впечатлениями. При этом не обходилось без взаимных похвал, поощрений и даже маленьких подарков. Так, в письме от 4 февраля 1964 года, дабы рассеять кое-какие недоумения, возникшие у Солженицына, я сообщал ему некоторые биографические сведения о себе, в частности, писал, что изрядную часть детства провел в Тульской области, в деревне Рыльское, на Непрядве, верстах в двенадцати от Куликова поля. Он ответил мне 8 марта, вложив в конверт небольшой самодельный снимок Куликовского столпа, и писал: «Если вы – с поля Куликова, то вкладываемый снимок кое о чем скажет Вам. Мы были там прошлым летом на велосипедах. Очень много впечатлений и мыслей, я даже хотел кое о чем написать, да негоже мне сейчас печатать путевые заметки»¹⁵.

В конце письма он меня подбадривал: «Со статьями Вас, я вижу, немножко подзадерживают. Но ведь, Владимир Сергеевич, физика учит, что на тех путях, где нет сопротивления, – не совершается и работа»¹⁶. Это, конечно, воистину так, но о путях, которые тогда уже твердо запланировал себе мой корреспондент, я разумеется, и не подозревал.

¹⁵ Архив автора.

¹⁶ Там же.



Владимир Сергеевич Бушин – советский и российский писатель, литературный критик, член союза писателей СССР

В другой раз я послал ему свою книжечку, он мне – «Один день». В декабре 1965 года решил поздравить его с наступающим Новым годом и высказать праздничные пожелания. Он ответил только 26 февраля 1966 года, и, объяснив такую задержку долгим отсутствием в Рязани, писал: «Спасибо. Трудно надеяться, что пожелания Ваши сбудутся, однако потянем как-нибудь». В какую сторону он намерен был «тянуть», я об этом тогда тоже, понятное дело,

не догадывался. В заключительных строках он снова подбадривал меня и поощрял: «Слышал о Вашем выступлении по ленинградскому телевидению. Вас хвалят. Рад за Вас»¹⁷.

Наконец, 16 ноября 1966 года на обсуждении в Московской писательской организации солженицынского романа «Раковый корпус» мы познакомились и воочию. Позже встречались еще. И вот 19 мая 1967 года я читаю и снова перечитываю: «...и перед Вами стоит выбор... и не бесконечно можно будет Вам его откладывать... Желаю Вам – лучшего...» Он всегда категорически желал мне «лучшего», видимо, стремясь дать понять, что горько сожалеет о том «худшем», в котором я прозябал. Даря в марте 1964 года свою повесть «Один день Ивана Денисовича», начертал на обложке: «Критику Владимиру Бушину с надеждой на все лучшее, что в нем есть и будет». Сейчас, как можно было понять, лучшее для меня состояло в том, чтобы перестать тянуть волынку и сделать же, наконец, тот замечательный выбор, который сам Солженицын, как потом оказалось, сделал уже давно, т. е. последовать за ним. Он лучше меня знал, что для меня лучше.

¹⁷ Архив автора. Это было не мое персональное выступление, а коллективная передача, состоявшаяся в один из самых первых дней января 1966 года. Вел ее академик Д.С. Лихачев, а участие принимали писатели Москвы и Ленинграда: покойные Л.В. Успенский, В.А. Солоухин, О.В. Волков, а также В.С. Бахтин, В.В. Иванов и я. Все мы вели речь о сбережении национальных культурных ценностей. Мне, например, незадолго до этого довелось опубликовать в «Литературной газете» статью «Кому мешал Теплый переулок?», где я довольно резко ставил вопрос о недопустимости много лет бушующего у нас топонимического волюнтаризма – о недопустимости его не только с точек зрения житейско-бытовой, почтово-транспортной и административной (об этом и раньше писали много), но и с точек зрения культурно-исторической, государственно-национальной. Статья эта вызвала многочисленные и весьма живые отклики. В выступлении по телевидению я развивал те же мысли. Подробнее об этом выступлении рассказано в моей книге «Окаянные годы». – В. Б.

Лучшие сорта жизни

19 мая, как уже сказано, была пятница, а по пятницам в редакцию журнала «Дружба народов», где тогда работал, мне позволялось не ходить. Скорее всего в понедельник, 22 мая, ко мне зашел в мой редакционный кабинетик поэт Наум Коржавин, которого я знал с далеких литинститутских времен еще Эмкой Манделем, и предложил подписать коллективное письмо в адрес Президиума скорого съезда писателей. Я подписал. В письме предлагалось обсудить то самое послание Солженицына, которое я уже получил с помянутой сопроводителькой.

Да, прискорбные факты в нашей многоликой литературной жизни, конечно, случались, горькие дела были, но в письме Солженицына плотным косяком шли главным образом лживые вымыслы о ней. Доводы против них, как говорится, не лежали на поверхности, а требовали поиска, наведения справок, сопоставления фактов, размышлений. Одни проделать такую аналитическую работу были неспособны, другие просто не хотели. Тем более что ведь и в голову не могло прийти усомниться в правдивости человека, который тут же, в этом письме, называл себя «всю войну провоевавшим командиром батареи», о котором авторитетные люди писали как о невинной жертве произвола.

И вот в какое возбужденное состояние привели именно эти слова молодого и темпераментного Георгия Владимова, который тоже получил письмо и теперь писал съезду: «Гнусная клевета на боевого офицера, провоевавшего всю войну... Это происходит на пятидесятом году РЕВОЛЮЦИИ... Я хочу спросить полномочный съезд – нация ли мы подонков, шептунов и стукачей или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев?» Мне лично не было необходимости обращаться к съезду для разрешения вопроса о моей нации, но – зная, где гении, я недостаточно был осведомлен о подонках, шептунах и стукачах. Именно поэтому-то отчасти и подписал я письмо, принесенное мне Коржавиным 22 мая 1967 года.

Однако, с другой стороны, в письме Солженицына встречались и утверждения, в правильности, справедливости которых не мог сомневаться даже самый недоверчивый человек. Так, умело играя на неповоротливости наших издателей, автор с большим пафосом возмущался прискорбным фактом длительного неиздания у нас Мандельштама, Пильняка, Волошина, Клюева, Ремизова, Гумилева и уверенно заявлял, что они «неотвратимо стоят в череду». Время показало, какой ловкий это был ход: в последующие годы действительно вышли сборники и Мандельштама (1975), и Пильняка (1976), и Волошина (1977), и Клюева (1977), и Ремизова (1978), и вот впервые после 1935 года издали «Петербург» Белого (1979), и скоро мы перестали платить по пятьсот рублей за парижские и вашингтонские издания Гумилева, который не выходил у нас с 1925 года.

Иные читатели солженицынского письма воспринимали его, вероятно, так: автор, бесспорно, прав в отношении Мандельштама, Гумилева и других, следовательно, столь храбрый и честный человек, он прав и во всем остальном. Эти люди не знали того, что, конечно же, прекрасно знал автор письма: лучшие сорта лжи фабрикуются из полуправды.

Я же считал, что обсудить письмо, как это предлагалось в том обращении к съезду, которое принес мне Коржавин, вовсе не значило принять все его идеи и требования. Главным у Солженицына было требование «добиться упразднения всякой цензуры». Ленинградский писатель Виктор Конецкий, которому автор тоже направил свое послание, писал в адрес Президиума съезда, возражая на помянутое категорическое требование: «Во всех государствах при всех режимах, во все века была и необходима еще будет и военная, и экономическая, и нравственная (порнография) цензура». Надо думать, среди делегатов съезда оказалось бы достаточно писателей, которые тоже нашли бы веские возражения как по этому, так и по другим пунктам письма. Словом, в ходе коллективного обсуждения обнаружились бы достопаечальные свойства

солженицынского демарша. Увы, у руководства Союза писателей и у таких его опекунов в ЦК, как А. Яковлев, не хватило ни смелости, ни сообразительности пойти на это.

Правда, тогда многое еще никак не могло обнаружиться даже при самом активном обсуждении. Так, на съезде не могло обнаружиться, что за словами «всю войну провоевавший командир батареи» стояли, как позже выяснилось, факты, несколько отличные от прямого смысла этих слов. И поэтому письмо Солженицына, разосланное им, как потом он сам признался, в 250 адресов, смутило дух и привело в крайнее возбуждение не одного лишь темпераментного Владимирова. Его ровесник ленинградский поэт Владимир Соснора, будучи твердо уверен, что Солженицын – «пламенный борец с не-нашей идеологией», с еще большей уверенностью предрекал в своем огненном послании Союзу писателей: «Через две недели не будет ни одного (!) человека в России, и не только в России, который не прочитал бы это письмо». Виделось ему, что все человечество, отложив) самые срочные дела, остановив поезда и погасив домны, вот-вот засядет за чтение потрясающих страниц о том, как уничтожили Платонова и как Александр Исаевич с первого до последнего дня войны бесстрашно командовал своей смертоубийственной батареей.

Впрочем, не будем так строги к молодым тогда авторам, хотя один из них уже написал тогда двадцать четыре поэмы, каждая из которых равна «Медному всаднику» по объему. Не совсем трезво вели себя в те дни и некоторые литературные аксакалы. Вот Валентин Катаев. Ему было уже семьдесят. Мог бы, казалось, не буйствовать и понимать, что к чему. Но он наперегонки с тридцатилетними помчался на почту и отстукал в адрес съезда телеграмму, в которой оповещал: «С основными положениями письма я вполне согласен». С какими именно, не уточнял. Так и останется, увы, неизвестным, считал ли он «основным», допустим, «положение» письма о том, что у нас в стране «поносили» Достоевского, или о том, что Маяковский, которого Катаев хорошо знал лично, жил в советское время и разъезжал по советской стране с ярлыком «политический хулиган».

Еще более почтенный по возрасту Павел Антокольский, тоже сочинивший письмо, объявлял в нем Солженицына «наследником великих гуманистических традиций Гоголя, Л. Толстого, А.М. Горького» и призывал съезд покаяться перед этим вроде бы даже единственным «наследником»: «все мы в ответе перед ним». На колени, мол, братья писатели!

У иных аксакалов отрезвление не настало и по прошествии довольно длительного времени после съезда. Так, Твардовский даже и через восемь месяцев, в январе 1968 года, все еще уверял: «Я не помню даже попытки опровергнуть хотя бы один (!) из его (солженицынского письма. – В.Б.) пунктов, объявить их ложными... Почему? По той причине, что они в основе своей неопровержимы». Словом, маститый писатель вел себя почти так же, как тот ленинградский бурный талант, который за пятнадцать лет написал двадцать четыре «медных всадника». Прошло еще полгода, и в июле Лидия Чуковская все продолжала твердить: «Опровергнуть письмо нельзя ничем – и факты, и выводы неопровержимы». Ей шел в ту пору седьмой десяток... Это было поразительно! Ведь образованные же писатели...

В «Письме» много было намешано всего. Так, желая охарактеризовать духовную жизнь нашего общества, Солженицын утверждал, например, что «у нас одно время не печатали... делали недоступным для чтения» Достоевского¹⁸. Это сказано было, конечно, без должного уважения к истине. Как известно, Достоевский являлся сторонником самодержавия, иные его взгляды и произведения, так сказать, не соответствуют идеям социализма. При этих условиях наивно было бы надеяться, что сразу после свержения самодержавия и социалистической революции его стали бы печатать столь же охотно и широко, как, допустим, Горького или Маяковского, провозвестников этой революции. И тем не менее 23-томное Собрание сочине-

¹⁸ Солженицын А. И. Письмо Четвертому Всесоюзному съезду писателей, с. 1. Архив автора. Далее – «Письмо». Оно опубликовано в уже цитированном 6-м томе собр. соч. Солженицына. Все цитаты в этом фрагменте взяты оттуда. – В. Б.

ний Достоевского, начатое до революции петербургским издательством «Просвещение», после Октября не было ни прервано, ни заброшено, ни забыто, и последние тома беспрепятственно вышли уже в советское время. В 1921 году в Москве и Ленинграде (Петрограде) был отмечен 100-летний юбилей Достоевского. еще раньше на Цветном бульваре был поставлен памятник работы известного скульптора С.Д. Меркулова и открыт музей на Божedomке, к которому позже памятник был перенесен. Вскоре после этого началась подготовка к изданию первого советского собрания сочинений писателя на научной основе, и оно было осуществлено в 1926–1930 годах. А 30-томное академическое в 70–80-х годах?! Всего после революции, по данным на ноябрь 1981 года (160 лет со дня рождения писателя), вышло в нашей стране 34 миллиона 408 тысяч экземпляров его книг. Это получается в среднем около 540 тысяч ежегодно. Где ж тут «недоступный для чтения»? Надо ли упоминать еще и о целой научно-критической литературе о творчестве Достоевского, созданной в советское время?

Далее Солженицын писал, что великого писателя, гордость мировой литературы, у нас «поносили». Это обвинение, как и многие другие обвинения его письма, безадресно. Кто «поносил» – неизвестно. И что значит «поносил»? Достоевский художник сложный, трудный, противоречивый, страстный. Он и сам кое-кого «поносил». Так, Тургенева и Островского обвинял в шаблонности; о Толстом писал, что тот в сравнении с Пушкиным ничего нового не сказал; Салтыкова-Щедрина называл сатирическим старцем; о Константине Леонтьеве говорил, что вся его философия сводится к девизу «Живи в свое пузо» и т. п. Вполне естественно, что у такого художника и среди современников, и среди потомков были да, видимо, и всегда будут как горячие почитатели, так и яростные противники, которые тоже порой не слишком склонны к сдержанности в выражении своих чувств, – и разве им это запретишь? Его не любили такие большие художники, как Чайковский, Бунин. Но уж если речь вести о поношении Достоевского в прямом смысле, без кавычек, то в советское время его не было, а в прежние поры – сколько угодно. Именно тогда, в старое время на него писали злобные эпиграммы, главной чертой его таланта провозглашали жестокость, даже сравнивали с маркизом де Садом и т. д. И ведь это лежит на совести не кого-нибудь, а Некрасова, Тургенева, Михайловского. Уж не будем останавливаться здесь на критике Страхова, который просто оклеветал писателя.

В письме Солженицына содержались столь же неосновательные обвинения, связанные с именами некоторых советских писателей. Например, он гневно вопрошал: «Не был ли Маяковский «анархистствующим политическим хулиганом»?» Слова-ярлык взяты в кавычки, будто цитата откуда-то, но откуда – опять неизвестно! Может, конечно, кто-то и называл так Маяковского до революции, когда в стихах и особенно в публичных выступлениях поэта было много дерзкого эпатажа, но назвать его после революции «политическим хулиганом», т. е., в сущности, врагом революции, которую он сразу принял всей душой и поставил свое перо, по собственному признанию, «в услужение» ей, – так назвать поэта мог бы лишь человек, который отличается, по слову Достоевского, «совершенно обратным способом мышления, чем остальная часть человечества». Нельзя, естественно, исключать возможности того, что люди именно с подобным способом мышления были среди родственников Солженицына или его знакомых, от которых он и услышал такую характеристику Маяковского. И запомнил ее, не сумев осмыслить. И не зная, как видно, при этом того, что до революции Маяковский сильно страдал от цензуры. Она не пощадила, допустим, его поэму «Облако в штанах». Полностью удалось опубликовать ее лишь после революции, в марте 1918 года.

Нагнетая мрачные краски в характеристике духовной жизни нашего общества, Солженицын далее уверял: «Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой девять лет назад (т. е. в 1957 году? – В.Б.) было объявлено «грубой политической ошибкой». Снова неизвестно, кем «было объявлено». С какого лобного места? Может, это приснилось? Похоже, что именно так, ибо с тем «объявлением» никто не посчитался, и вскоре издания произведений Цветаевой последовали одно за другим: 1961 год – «Избранное», 1965-й – «Избранные про-

изведения» (большая серия «Библиотеки поэта»), 1967-й – «Мой Пушкин» (позже издан в более полном виде еще два раза)... А сколько этому сопутствовало журнальных публикаций: в «Москве», «Новом мире», «Звезде», «Просторе», в «Литературной Грузии», «Литературной Армении», в альманахах «День поэзии» и «Прометей»... В 1979 году вышли стихи и поэмы Цветаевой в малой серии «Библиотеки поэта» (576 страниц), 1980-й принес читателям ее двухтомник (том первый – стихотворные произведения, 575 с, том второй – проза, 543 с), 1983-й – «Стихотворения», изданные в Казани 100-тысячным тиражом... И эти издания, эти публикации вызвали большое количество статей, рецензий в тех же упомянутых популярных журналах.

Но автор «Письма» все продолжал класть мрачайшие мазки: он, допустим, божился, что совсем недавно «имя Пастернака нельзя было и произнести вслух». Имелась в виду злополучная история передачи писателем за границу и опубликование там в 1957 году романа «Доктор Живаго», а также присуждения ему в 1958 году Нобелевской премии. Это вызвало тогда резкую критику в советской печати (например, статья Д. Заславского в «Правде» 26 октября 1958 года, в которой Пастернак был назван «литературным сорняком») и повлекло за собой исключение большого художника из Союза писателей. Увы, это было. Но дело, однако же, далеко не доходило до того, чтобы люди боялись произнести имя поэта вслух. Так, в том же 1958 году вышла книга «Стихи о Грузии. Грузинские поэты», и на ее обложке стояло имя не чье-нибудь, а исключенного из Союза писателей Пастернака. Позволю привести еще пример из собственной литературной работы. 13 сентября 1958 года я опубликовал в «Литературной газете» статью «И вечный бой!», посвященную роману Анатолия Калинина «Суровое поле», и там цитировал популярнейшие строки Пастернака. Да не в подбор, как ныне газеты цитируют даже Пушкина, а как полагается – стих под стихом. Было это, повторяю для в «Литгазете», где я тогда работал, на глазах у всех и в самый разгар критики опального поэта, однако – я остался жив! Да, у многих советских писателей жизненная и творческая судьба в годы так называемого «культа личности» оказалась трудной, а порой и трагической, но Солженицын, внося смуту в вопрос, в котором необходимы абсолютная достоверность и точность, в своем письме еще более все это драматизировал, усугублял, ухудшал, не останавливаясь перед прямым искажением фактов. К тому, что уже сказано, можно добавить, например, его утверждения (и, разумеется, чрезвычайно гневные!), будто для Николая Заболоцкого «преследование окончилось смертью», а Андрея Платонова «уничтожили». Заболоцкий, как об этом сказано в Краткой литературной энциклопедии, действительно «в 1938 году был незаконно репрессирован; работал строителем, чертежником на Д. Востоке, в Алтайском крае и Караганде», но в 1945 году его полностью реабилитировали, он вернулся в Москву и пишет в это время много прекрасных стихов, а в 1948 году выходит его книга «Стихотворения». Умер Николай Заболоцкий своей смертью в Москве 14 октября 1958 года пятидесяти пяти лет от роду. Что же касается Платонова, то он вообще никогда не был репрессирован. И никто его не «уничтожал», а умер он опять же своей смертью, в Москве, на пятьдесят втором году жизни. Как видим, уже тогда, в самом начале Солженицын врал направо и налево...

Но все сказанное вовсе не означает, конечно, что у нас не находилось людей, порой и достаточно влиятельных, которые были чрезмерно осторожны, а то и враждебны по отношению к тем или иным из названных здесь писателей или к отдельным их произведениям. Так в 1935 году издательство «Academia» выпустило роман Достоевского «Бесы». Это вызвало чрезвычайно резкий протест уже упоминавшегося Д. Заславского, весьма известного и деятельного в ту пору журналиста. Он выступил со статьей, которая была озаглавлена никак иначе, а – «Литературная гниль». Факт более чем прискорбный, но он не остался без достойного ответа. И ответил не кто-нибудь, а сам Максим Горький, отношение которого к Достоевскому, при всем восхищении его изобразительной силой, во многих аспектах было весьма критическим. Он писал: «Мое отношение к Достоевскому сложилось давно, измениться – не может, но в дан-

ном случае я решительно высказываюсь за издание «Академией» романа «Бесы...» И всего этого не знали Антокольский и Катаев, Твардовский и Лидия Чуковская?

После истории с письмом к съезду Солженицын развил бешеную деятельность по разным направлениям: требовал от Союза писателей публикации своих романов и повестей, добивался обсуждения «солженицынского вопроса» в секретариате Союза, тайно отправлял свои рукописи за границу (впрочем, это, возможно, сделано было и раньше), направо и налево раздавал западным журналистам весьма экстравагантные интервью... Следствием его титанической активности явились два знаменательных события: с одной стороны – в ноябре 1969 года исключение из Союза писателей, с другой – ровно через год присуждение Нобелевской премии. В те бурные дни ему, конечно, было не до переписки со мной. Я тоже не писал.

В феврале 1974 года Солженицына экспортировали в ФРГ и лишили гражданства, с весны 1975-го он обосновался в США, в штате Вермонт. Там с новой силой принялся за анти-советчину. Большое усердие не остается без внимания, благодарности и поддержки. Так, 10 мая 1983 года ему выдали еще и Темплтоновскую премию «За вклад в развитие религиозного сознания» (Англия), кажется, раза в два с половиной превышающую его Нобелевскую, за некие заслуги на религиозном поприще.

В свое время у нас о Солженицыне было напечатано много статей, рецензий, заметок, откликов. Были и серьезные, глубокие, но иные, к сожалению, оказались весьма поспешны и поверхностны. Появились у нас и книги о Солженицыне. Первая – «В споре со временем»¹⁹, принадлежит перу Натальи Решетовской, бывшей жены писателя. В ней много конкретных и достоверных, документально обоснованных сведений о жизни А. Солженицына с детских лет до весны 1964 года, там приоткрывается завеса над самой личностью писателя. Вторая книга – «Спираль измены Солженицына»²⁰ – перевод с чешского, написана чехословацким литератором Томашом Ржезачем, лично знавшим своего героя в пору его пребывания в Швейцарии. Следует также упомянуть обширные публикации историка Н. Яковлева, посвященные в основном историческим и военным концепциям А. Солженицына, развитым в его романе «Август четырнадцатого». Эти публикации²¹ содержат немало нового. Позже в переводе с французского вышла книга «Солженицын»²² Жоржа Нива. А тут поспешил просветить подрастающее поколение своим «Солженицыным» и Виктор Чалмаев²³... Наконец, в 2008 г. в ЖЗЛ вышел и «Солженицын» Людмилы Сараскиной, о котором в конце мы скажем особо.

Мой интерес к Солженицыну, первоначально проявившийся в статье о нем, а позже подкрепленный перепиской и личным знакомством, со временем не слишком ослабевал, хотя окраска его становилась несколько иной. Это побуждало меня при возможности читать и то, что он писал или говорил сам, и то, что о нем писали или говорили другие. Из прочитанного делались выписки, вырезки и т. д. Важное значение имели тут мои зарубежные поездки, в частности, поездка в ФРГ и посещение там Международной книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне в октябре 1979 года. На этой ярмарке и около нее тема Солженицына была представлена роскошнейшим образом. Да и не только на ярмарке. Первое, что мне подавали в книжных магазинах Франкфурта, Мюнхена, Майнца, Кельна, Бонна, Аугсбурга и Вупперталя, когда я спрашивал о русской литературе, был «Архипелаг ГУЛАГ», а уж потом следовали Толстой, Достоевский, Горький. В результате всех этих домашних и зарубежных штудий у меня скопился изрядный материал, который сам просился на бумагу.

¹⁹ Решетовская Н. В споре со временем. АПН, 1975. Далее – Н. Решетовская.

²⁰ Ржезач Т. Спираль измены Солженицына. Прогресс, 1978.

²¹ Яковлев Н.Н. Продавшийся и простак // Голос Родины, февраль, 1974; Яковлев Н.Н. Продавшийся. Литературная газета. 20.02.1974.

²² Нива Ж. Солженицын. Художественная литература, 1992.

²³ Чалмаев В. Александр Солженицын. Жизнь и творчество. Просвещение, 1994.

А. Солженицын совершенно уверен, что все, написанное им, а в особенности, конечно, его Главная Книга – «Архипелаг ГУЛАГ», это абсолютно неуязвимая высочайшая правда. По его словам, Ассоциация американских издателей еще до появления «Архипелага» в США предложила тогда широко опубликовать в Соединенных Штатах любые опровергающие материалы. «Тщетное великодушие! – гордо восклицает Солженицын в брошюре «Сквозь чад». – Кроме бледной статьи Бондарева в «Нью-Йорк таймс» да захлебной ругани АПНовских комментаторов, ничего не родили тотчас». И дальше с чувством еще большего торжества: «Но вот отменно: они ничего не родили в опровержение и до сих пор, за пять лет. Пропагандистский аппарат оказался перед «Архипелагом» в полном параличе: ни в чем не мог его ни поправить, ни оспорить... Потому что ответить – нечего». И, наконец, уж вовсе упоенно: «За четырнадцать лет моих публикаций... не смогли ответить мне никакими аргументами или фактами, потому что ни мыслей, ни аргументов у них нет»²⁴.

Я не знаю, почему в свое время не приняли предложение Ассоциации американских издателей ответить на «Архипелаг», если оно в самом деле имело место. Может, действительно сразу-то, с налету не нашлось ни мыслей, ни аргументов. Известное дело, еще Бисмарк корил нас: «Русские медленно запрягают...» Но уж ныне-то грешно было бы утаивать от читателя появившиеся мысли и аргументы. Словом, пожалуй, настало время для более пристального рассмотрения фигуры Александра Исаевича Солженицына. И начнем с одной из первых книг о нем.

«Томашу Ржезачу, журналисту. Прага

Уважаемый Томаш! В своей книге об А. Солженицыне Вы неоднократно представляете его читателю страдальцем и мучеником, вынесшим невероятное. Вы пишете: «Хемингуэй высказал мысль, что каждый настоящий писатель должен пройти через какие-либо тяжелые жизненные испытания, такие, например, как война, заключение». Не знаю, точно ли пересказываете Вы Хемингуэя, но важно не это, а то, что Вы говорите дальше: «Солженицын проделал именно такой жизненный путь... Он прошел трудный путь... В жизни ему выпало испытать самое тяжелое».

Вы не одиноки, многие говорят о нем в этом же самом духе: «Человек, испытанный огненным крещением...» «переживший муки ада...» «вынесший 11 лет ужасного кошмара советских лагерей...» и т. п.

Такому представлению о жизненном пути Солженицына, надо думать, больше всего содействовали его собственные рассказы и заявления о себе. Вы пишете, что, «по его словам», он прошел «огонь и воду, медные трубы и чертовы зубы». Я не встречал у него именно этих слов, но нечто подобное он говорил и писал неоднократно. Особенно примечательно вот это высказывание в книге «Бодался теленок с дубом»: «Вся жизнь приучила меня гораздо больше к плохому, и в плохое я всегда верю легче, с готовностью». Обратите внимание, его приучили к плохому не годы заключения, а «вся жизнь», весь пройденный им путь. И, конечно же, надо не только видеть плохое и тяжелое со стороны, а испытать все на своей судьбе, на собственной шкуре, чтобы до такой степени «приучиться» к нему – верить в него не иногда, а всегда и не просто легко, но даже с готовностью!

Так давайте, товарищ Ржезач, и окинем взглядом «всю жизнь» Солженицына, посмотрим, действительно ли она была столь ужасна, так изобиловала неудачами, страданиями и тяготами, что не могла не приучить его к постоянной готовности верить в плохое. Солженицыну уже в самом начале жизни крупно повезло даже с местом рождения. Сколько русских писателей родились и провели жизнь в пыльной и шумной Москве, в пасмурном холодном Петербурге-Ленинграде, в сонных уездных городках, в глухих убогих деревеньках... А Солженицын

²⁴ Солженицын А. Сквозь чад. YMCA-PRESS, Paris, 1979, с. 3, 11. Далее – «Сквозь чад».

родился на курорте! И это был не какой-нибудь зачуханный поселочек вроде Шафраново, куда ездил лечиться Толстой и где нет ничего, кроме кумыса и запаха конского навоза. Солженицын явился на свет в знаменитом на всю Россию, хорошо известном и Европе, в замечательном городе Кисловодске – первом курорте страны. Это – 900 метров над уровнем моря, хрустальной чистоты воздух, весь год – обильный солнцем, но нежаркое лето, теплая сухая осень, мягкая, ясная, безветренная зима. Это – среднегодовая температура воздуха 8,8 градуса тепла. Это, наконец, нарзан. Не знаю, дорогой Томаш, могут ли ваши Карловы Вары сравниться с нашим Кисловодском. Недаром же еще в первой половине XIX века русская аристократия отметила его своим прихотливым вниманием.

Будущий титан Шурик родился зимой. В эту пору его ровесников москвичей и петроградцев, пензяков и туляков кутали в теплые одеяла, укрывали овчинными шубами, его деревенские сверстники задыхались и прели в душных избах, а он вдыхал живительный горный воздух, млел в колясочке на мягком зимнем солнце, блаженно сучил еще кривоватенькими розовыми ножками и в неограниченных количествах мог потреблять нарзан. А какие виды, какие пейзажи несравненного Приэльбрусья открывались еще мутноватеньким Саниным глазкам! Последствия такого курортного существования с начальных дней оказались самыми благотворными. Отмечу хотя бы одно: видимо, именно вволю отведенный на заре жизни нарзан (в переводе с кабардинского «нарт-сане» это «богатырская вода») не только придал Шурику богатырскую силу, сообщил великую творческую энергию, но и внушил почти полное неприятие алкоголя, сгубившего немало русских талантов. Уже находясь на фронте, он писал жене о водке, которую там выдавали в зимнее время: «Представь себе, веселит, хотя и 100 грамм всего. Я их – кувырк!» Видимо, тут переданы ощущения человека, впервые отведавшего спиртного. А было ему тогда 25 годков...

Продолжал так: «А в общем – к чертовой матери! Каждый день пить не буду, это вредно. Буду менять на сахар». Каждый день не вредно, а даже полезно пить нарзан. И хорошо бы, конечно, допустим, каждый день по сто грамм водки выменивать на бутылку нарзана, да где ж его взять на фронте, и приходилось довольствоваться сахаром. Впрочем, и такой гешефт был боевому офицеру приятен: уж очень всю жизнь любил он сладкое во всех его возможных видах – от шоколадки до Нобелевской премии. К слову сказать, тогда еще не велись разговоры о том, что сахар – это «белая смерть». Иначе Солженицын выменивал бы свои сто грамм на что-то другое, допустим, на свиную тушенку, которая к его прибытию на фронт в середине 43-го года как раз начала поступать нам из Америки по ленд-лизу.

Однако я отвлекся. Вскоре маленький Шурик переезжает с матерью в Ростов-на-Дону. Случалось ли Вам, дорогой Томаш, бывать в этом городе? Мне выпало неоднократно. Конечно, в 20—30-е годы он выглядел иначе, но и тогда многие его достоинства не подлежали сомнению: город большой, зеленый, на знаменитой великой реке в сорока пяти верстах от моря, рукой подать до Кавказа, а сверх всего – и театры, и университет! Сейчас почти потеряло значение, почти исчезло понятие «университетский город»: ныне университетов много. А тогда университеты в стране были наперечет, и университетские города имели особое значение и вес, необычную притягательность и авторитет. К числу этих редких баловней истории принадлежал и Ростов. Большая жизненная удача, особенно для человека, помышляющего стать писателем, – оказаться жителем такого города. Именно эта удача и выпала на долю Сани Солженицына, когда он из Кисловодска переехал с матерью в Ростов.

Правда, было одно печальное обстоятельство: отец Солженицына умер (или погиб) еще до рождения сына. Но такая участь не считалась в ту пору редкостной, исключительной. Только что кончилась империалистическая война, шла война Гражданская, голод, эпидемии – все это унесло миллионы жизней. Безотцовщина, сиротство, беспризорщина никого тогда не удивляли. Все-таки на долю Солженицына выпало меньшее из этих зол, и оно, как видно, в огромной степени смягчалось заботой, вниманием и самоотверженностью матери.

Мать была стенографисткой-машинисткой. Видимо, ей удавалось неплохо зарабатывать, во всяком случае, она сумела сделать так, что сын не только окончил школу, а потом университет, не бросил их и не пошел работать, но и за все время учения не бегал по случайным заработкам, что было тогда так широко распространено среди учеников и особенно студентов. Разве такая мать – это не счастливый подарок судьбы?

Однажды Солженицын скажет: «Я детство провел в очередях – за хлебом, за молоком, за крупой». Да, время было трудное, и детям приходилось стоять в очередях. Но есть основание думать, что и это обошлось ему легче, что выпадало все-таки гораздо реже стоять, чем сверстникам, ибо в другой раз он скажет: «Детство я провел в многочисленных богослужениях». Видно, когда ровесники стояли в очередях, Шурик нередко имел возможность возносить к небесам аллилуйю. Возможность эту обеспечивала, конечно, мать, ее заботы.

Судьба не обделила Солженицына почти ничем из того, что необходимо для плодотворной умственной работы, – ни способностями, ни трудолюбием, ни усидчивостью, ни здоровьем, наконец. более чем щедро она наградила его и честолюбием, а оно один из главных двигателей творчества. Благодаря своим незаурядным природным данным Солженицын хорошо учился и в школе, и в университете. Но, дорогой Томаш, разве не случалось Вам встречать людей талантливых, деятельных, добивающихся отличных результатов в своей работе, но они, как говорится, не умеют себя подать и всегда остаются в тени, их жизнь проходит в безвестности? Не так было с Солженицыным. Он умел сделать так, что его способности и старания всегда сразу замечались, получали поддержку и поощрение. В школе он был назначен сначала бригадиром (было это тогда!), позже – старостой класса, а в университете его облаkali Сталинской стипендией, что по тем временам ценилось чрезвычайно высоко, да и цифровое ее выражение было весьма существенным, в несколько раз превосходявшим обычную студенческую стипендию. Это ли не новая и крупная удача? Правда, для Сталинской стипендии нужны были не только отличные отметки, тут учитывалась и общественная работа, политическая активность. Ну, уж чего-чего, а этого-то у Сани было с избытком! Тут и художественная самодеятельность, и редактирование стенной газеты, и «вообще деятельное участие во всех комсомольских делах».

Летом 1939-го он поступил на заочное отделение Московского института истории, философии, литературы. Опять удача? еще какая! Это было бы большой удачей и не только для провинциального юноши, который еще не носил гордое звание Сталинского стипендиата, имевшее магическую силу. Ведь ИФЛИ был знаменит на всю страну!

Высокую персональную стипендию Солженицын стал получать с 1940 года, на полтора года позже. Это существенно отметить, ибо ясно же, что поступление в московский институт, длительные поездки в столицу по делам учебы требовали новых дополнительных средств, а повышенной стипендии еще не было, выходит, что мать Солженицына все-таки выискивала эти средства, очевидно, исключительно за счет того, что брала новую и новую работу. О том, как старалась мать сделать для своего Шурика все, что в ее силах, говорит и знаменательная покупка велосипеда в 1936 году, видимо, в связи с окончанием десятилетки. Знаете ли Вы, дорогой Томаш, что значил в нашей стране в середине 30-х годов личный велосипед? Пожалуй, почти то же самое, что сейчас в Чехословакии личная «Татра» или у нас – «Волга». И вот семнадцатилетний Солженицын получил от матери такую «Волгу».



Студент заочного отделения Московского института истории, философии и литературы Александр Солженицын. 1939 г.

«Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что ты не участвуешь в несправедливостях. Они сильнее тебя, они были и будут, но пусть – не через тебя»
(Александр Солженицын)

Машина не стояла без дела. Летом 1937 года в первые студенческие каникулы они с приятелем Николаем Виткевичем покатались на юг, проехали по Военно-Грузинской дороге. В следующем году, после второго курса, крутили педали уже по дорогам Крыма и Украины.

После третьего курса – махнули в Казань, купили там за 225 рублей лодку, прокатились вниз по матушке по Волге до Самары, недавно ставшей Куйбышевом, продали там лодку за 200 рублей и вернулись домой, а затем – в Москву, опять вместе поступать в ИФЛИ. Лето следующего года распределилось у Солженицына так: с середины июня до конца июля – в Москве, где сдает экзамены за первый курс ИФЛИ; с конца июля, видимо, до конца августа – в Тарусе, где они с Натальей Решетовской проводят свой медовый месяц. На этом следует остановиться. Женитьба Солженицына – это еще один, может быть, самый большой подарок ему фортуны. В самом деле, в таких девушек, как Наташа Решетовская, влюбляются многие. Это об одной из них Пушкин сказал:

Вы избалованы природой,
Она пристрастна к вам была.
И наша вечная хвала
Вам кажется докучной одой...

Н. Решетовская действительно была избалована природой: и хороша, и умна, и богато одарена талантами – впоследствии она стала хорошим ученым, преуспела по службе (доцент, завкафедрой), а как пианисткой ею восхищались музыканты и писатели с мировыми именами. Да, в таких влюбляются многие. Но многие ли добиваются успеха? А вот Солженицын влюбился – и она стала его женой. Молодые люди едва ли не пол-Ростова завидовали ему.

О медовом месяце в тихой поэтичной Тарусе Н. Решетовская вспоминает так: «Сняли отдельную хату у самого леса. Мы не столько бродили по этому лесу, сколько располагались в тени берез, и муж читал вслух или стихи Есенина, или «Войну и мир» Толстого, частенько находя сходство между двумя Наташами». Это происходило в 1940 г.

На будущий год, 22 июня, Солженицын снова приезжает в Москву – сдавать экзамены за второй курс, но это был уже 1941 год, и не знаю, довелось ли ему в этот раз сдавать экзамены.

Итак, каждое лето после окончания школы, пять студенческих каникул подряд, Солженицын или проводит в туристских вело-лодочных походах, или ездит в Москву. Из этого можно сделать по крайней мере два существенных вывода. Первый: молодой человек может позволить себе даже в каникулы не тратить золотые дни молодости на какие-то заработки, как многие его однокашники; он предпочитает в это время любоваться красотами Дарьяльского ущелья и Жигулями, бродить по горным тропам и подниматься на Ай-Петри, слушать рокот моря и шелест волжской волны, блаженствовать с возлюбленной в тени тарусских берез и размышлять о ее сходстве с героиней Толстого... Когда позже, через несколько лет, он станет чернить советскую власть и все ее порядки, называя их бесчеловечными, жестокими, рабскими, он не вспомнит, что все это – ростовский университет и первоклассный московский институт, высокую стипендию и льготные каникулы, которые он проводил, как ему вздумается, – все это он имел, будучи сыном не высокопоставленного партийного руководителя, не генерала, не наркома, не академика, а всего-навсего одинокой и больной стенографистки.

Второй вывод таков: Вы ошибаетесь, т. Ржезач, когда пишете о Солженицыне в детстве и юности: «одутловатый, не слишком расторопный», в его облике «какое-то почти мистическое одиночество», наделяете его стремлением к отчужденности и замкнутости. Словом, создаете портрет болезненного анахорета. Факты биографии противоречат этому. Чтобы совершать длительные многокилометровые путешествия на велосипеде по горным дорогам или на лодке по реке, надо иметь крепкое здоровье. Судьба не обделила Солженицына и в этом – он был здоровым человеком с юных лет. Правда, порой пошаливали нервишки, на почве уязвленного самолюбия с ним случались нервные припадки, – ну кто же может похвастаться абсолютной безупречностью здоровья?

Что же касается замкнутости и «мистического одиночества», то откуда бы им взяться у бригадира, у старосты класса, а затем – у активнейшего комсомольца, редактора стенгазеты, участника художественной самодеятельности? И разве Вам неизвестно, что в студенческие годы у них существовал крепкий дружеский кружок, в который помимо Солженицына и Решетовской входили Николай Виткевич, Лида Ежерец и Кирилл Симонян?

Нет, уж чего-чего, а физической крепости, расторопности и ловкости, общительности и энергичности Солженицыну было не занимать на протяжении почти всей его жизни. Последнее, о чем следует сказать, всматриваясь в детско-юношеский ростовский период жизни Солженицына, это вот что. По сведениям, которые Вы приводите в своей книге, и отец его, и мать происходили из очень богатых семей землевладельцев и скотоводов. Некоторые люди, имевшие таких родителей, в советское время так или иначе пострадали. Солженицын же ничуть! Он шел по жизни беспрепятственно. Его происхождение не помешало ему ни в школе, ни при вступлении в комсомол, ни когда принимали его в университет, а затем – в столичный институт, ни при назначении ему Сталинской стипендии, ни при поступлении в офицерское училище, ни при быстром продвижении по службе, ни при награждении орденами, ни при реабилитации, наконец. Он не вспомнит и об этом, когда в «Архипелаге ГУЛАГ» будет убеждать, что «лились потоки (арестованных) за сокрытие соц. происхождения», за «бывшее соц. положение». Это понималось широко. Брали дворян по сословному признаку. Брали дворянские семьи. Наконец, не очень разобравшись, брали и ЛИЧНЫХ ДВОРЯН, т. е. попросту – окончивших когда-то университет. А уж взят – пути назад нет, сделанного не воротишь».

«Не очень разобравшись»... Это пишет человек, который своей биографией не только противоречит сказанному им, но и, претендуя на роль знатока старой России, не знает о ней простейших вещей и говорит анекдотические несуразности: будто все, окончившие университет, получали дворянство – что за вздор!

Так что же, скажете Вы, в ростовскую пору одни только удачи, успехи да везение? Нет, был у нашего героя в эту пору один крупный срыв: он мечтал стать актером, пробовал после десятилетки поступать в студию Юрия Завадского, находившуюся тогда в Ростове, и – провалился, сказали, что слабы голосовые связки. Пришлось ограничиться амплуа первых любовников в университетской самодеятельности. Но и эта неудача была все-таки временной и относительной. Солженицын еще развернет свои актерские способности, он еще сыграет хорошо выученную роль на глазах всего мира... Но об этом – дальше».

Солженицын и Достоевский

Как мы отчасти уже видели, иные авторы, высказывавшиеся об Александре Солженицыне, склонны были при этом поминать имена великих русских писателей, чаще всего – Достоевского и Толстого. Вот-де новый Достоевский; вот, мол, Толстой нашей эпохи. Правда, никакие доказательства за этими объявлениями, к сожалению, не следовали. Если у нас лишь отдельные авторы сравнивали Солженицына с Толстым и Достоевским (одним из последних по времени – коммунист В. Видьманов в «Правде»), то на Западе, как справедливо замечает Н. Решетовская, такое сравнение «введут в практику», в обиход. Что ж, не пойти ли нам в данном вопросе по одной дорожке с просвещенным Западом? Ведь интересно же, куда это может нас привести.

Б.И. Бурсов в своей интереснейшей книге «Личность Достоевского» (Л., 1982), к которой я буду здесь неоднократно обращаться, пишет о классике: «Он нередко похож и на тех выдающихся писателей и мыслителей, с произведениями которых не мог быть знаком». Да, с «Архипелагом ГУЛАГ» Достоевский не был знаком, не читал его запоем, не клал лишь с рассветом под подушку, и все же, думается, тут есть вроде бы веские основания для размышлений о «похожести» и «общности»: у этих писателей немало как бросающихся в глаза с первого взгляда, так и едва приметных совпадений самого разного рода – и биографических, и иных.

Читатель может сказать: «Допустим. Но в приведенном высказывании маститого литературоведа речь, однако же, идет о выдающихся писателях, – разве можно к таким фигурам отнести Солженицына?» Пока мы ответим на это так: Солженицын приобрел большую известность, его книги изданы во многих странах, и в этом смысле он бесспорно писатель выдающийся, нравится вам сей факт или нет. Но по заслугам ли получил он известность, – выяснению именно этого вопроса и посвящена настоящая работа. А тем, кто уж очень строг и нетерпелив, мы напомним, что допускал же, например, Толстой в статье «Кому у кого учиться писать – крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» сопоставление крестьянского мальчика Федьки с самим олимпийцем Гете. Для анализирующей мысли не должно быть никаких запретов, и она имеет право выбирать те пути (в том числе – сопоставления), которые, как она убеждена, вернее и короче всего ведут к истине.

Б. Бурсов пишет: «Биография Достоевского преисполнена неожиданностей и случайностей... Весь он окутан туманом легенд, которые более правильно назвать неправдоподобными историями. Даже его собственные рассказы и воспоминания о самом себе редко внушают полное доверие». Все это с полным основанием можно сказать и о Солженицыне. Если же перейти к вещам более конкретным, если начать с биографий и начать издали, то можно отметить хотя бы вот что.

Писатели родились довольно близко и по времени года – первый в ноябре, второй в декабре – и по «времени века»: соответственно в 21-м году девятнадцатого и в 18-м году двадцатого. Отцы обоих писателей, Михаил и Исаак, умерли в сравнительно молодом возрасте при загадочных, до сих пор не проясненных окончательно обстоятельствах, Михаил – в июне 1839 года, пятидесяти лет, Исаак – в марте 1919 года, видимо, еще моложе.

Достоевский с юных лет страдал припадками, возможно, унаследованной от отца эпилепсии, таинственной болезни нервной системы, причина отдельных форм которой остается неизвестной доныне; однажды во время припадка поранил правый глаз, в результате чего непомерно расширился зрачок. Солженицын с детства тоже отличался загадочными нервными расстройствами, порой доходившими до припадков, во время одного из коих, случившегося в школе из-за строгой нотации учителя, он упал и так поранил себе лоб, что на всю жизнь остался шрам, который некоторые принимают за ранение на фронте.

Достоевский хорошо учился в московском пансионе Леонтия Чермака и позже был одним из первых воспитанников в петербургском Главном инженерном училище; инженерное дело он знал и любил. Солженицын – неукоснительный отличник и в школе, и на физико-математическом факультете Ростовского университета, и на заочном отделении Московского института философии, литературы и истории, по отзывам его знакомцев, математику он знал и любил. Приблизительно в одном возрасте – Достоевский на 28-м году, Солженицын на 27-м – оба были арестованы и приговорены к лишению свободы. Первый целиком, а второй частично отбывали срок наказания в Сибири, в одном и том же юго-западном ее районе. Оба получили свободу по амнистии и вернулись к нормальной жизни в Центральной России через десять лет, когда им уже подбиралось под сорок. И тот и другой в жизни своей несколько раз сватались и были дважды женаты. Первый раз – на своих сверстницах и по страстной любви. Достоевский так, например, рассказывал о своих чувствах в письме к А.Е. Врангелю 21 декабря 1856 года: «Она сказала мне: да... Она меня любит... О! если б вы знали, что такое эта женщина». Солженицын ровно через сто лет вспоминал в одном из писем к Н. Решетовской, своей первой избраннице: «Сегодня – ровно 20 лет с того дня, который я считаю днем окончательного и бесповоротного влюбления в тебя... На другой день был выходной – я ходил по Пушкинскому бульвару (в Ростове-на-Дону. – В.Б.) и сходил с ума от любви»²⁵. Несмотря на такую страсть влюбление у того и другого, увы, не оказалось «бесповоротным»: у Достоевского при живой жене был мучительный, бурный роман с Апполинарией Сусловой; у Солженицына дело обернулось еще сложнее. Весной 1952 года, не дождавшись возвращения мужа, Н. Решетовская соединила свою жизнь с другим человеком. Через год Солженицын вышел из лагеря и в качестве ссыльного обосновался в поселке Кок-Терек, в Джамбульской области Казахстана. В тридцать четыре года холостому человеку естественно подумать о женитьбе. Он подумал и начал свататься. Летом 1955 года едет из Кок-Терека в Караганду, чтобы жениться там на женщине, с которой познакомился по переписке. Увы, этот эпистолярный способ витья семейного гнезда в данном случае почему-то дал осечку. Тогда, не теряя времени, следующим летом он мчится на Урал: там светила надежда построить гнездо посредством ветхозаветной свахи. Свах было даже две – жена и муж Зубовы, друзья Солженицына по ссылке. Сватали они свою племянницу Наташу. Но, увы, ни старые, ни новые формы сватовства не принесли Солженицыну успеха на обширных пространствах отечества от Караганды до Урала. И тогда он вспомнил о другой Наташе – о своей прежней жене, и вскоре ему удастся вернуть ее, точнее говоря, создать условия для своего возвращения к ней в Рязань.

Хотя Солженицын и клялся жене, что и в шестьдесят лет будет любить ее «так же, как полюбил в восемнадцать», но... Через несколько лет у него – тайный роман с неизвестной нам дамой в Ленинграде. Однако до развода и новой женитьбы дело тогда, как у Достоевских, не дошло. Решетовская объясняет это так: «Перемена образа жизни могла бы нанести ущерб творчеству. И Александр решил подавить свое влечение к другой женщине». Но через несколько лет – новый роман, на сей раз, увы, неподавимый. Солженицын расходится с Натальей Решетовской, женится на Наталье Светловой (если считать и уральскую, это уже третья Наталья в его жизни) и переезжает из Рязани в Москву. Во вторые браки оба вступали, когда им было под пятьдесят. Достоевский – опять по горячей любви; о Солженицыне точными сведениями по этому вопросу не располагаем. Во вторых браках жены уже не сверстницы мужей, как в первых, а гораздо моложе: у Достоевского ровно на двадцать пять лет, у Солженицына – лет на двадцать. И обе женщины по происхождению не совсем русские: мать Анны Григорьевны Достоевской (Сниткиной) была обрусевшая шведка, Наталья Светлова – еврейка по матери,

²⁵ Решетовская Н. В споре со временем. М.: АПН, 1975.

принявшая христианство²⁶. В этих браках у обоих выросло по два ребенка, а первые браки были бездетными.

Оба писателя прожили по меркам нашей литературы довольно долгую жизнь: классик почти шестьдесят, наш современник – девяносто... Так обстоит дело с некоторыми бросающимися в глаза биографическими совпадениями. Не правда ли, их довольно много? Странно, что они не стали предметом рассмотрения аналитиками.

Кое-что интересное можно обнаружить и в литературно-творческой сфере. И Достоевский и Солженицын о писательстве мечтали с детства и очень рано предприняли попытки сочинительства, причем на одинаково экзотическом материале: первый еще ребенком писал повести из венецианской жизни, а второй школьником сочинял что-то в духе Майн Рида. Их дебюты тоже имеют существенные черты сходства: и там и тут это было довольно небольшое произведение, и там и тут это явилось шумной сенсацией. Достоевский вслед за «Бедными людьми» выступил с повестями «Двойник» и «Хозяйка», и новые вещи резко изменили отношение к нему прежних самых искренних сторонников и почитателей. Очень странным оказалось, в частности, то, что автор повестей вдруг предстал по сравнению с первой публикацией далеко не таким зрелым и даже не вполне сложившимся писателем.

Такой же резкий перелом случился и с Солженицыным. После «Одного дня Ивана Денисовича», превознесенного до небес, удивляли вещи, написанные торопливо, неряшливо, неглубоко: рассказ «Для пользы дела», очерк «Захар-Калита», повесть «Раковый корпус»... Здесь громкая знаменитость представляла писателем не только менее опытным, но зачастую просто неумелым. «В несколько месяцев литературная репутация Достоевского изменилась в корне» – эти слова из уже цитированной книги В. Бурсова опять вполне можно отнести и к Солженицыну.

Как обнаружилось вскоре же после их дебютов, оба писателя работают очень много, чрезвычайно плодовиты и при этом обращаются к самым разным жанрам. Солженицын пишет о себе: «Обминул меня господь творческими кризисами». И впрямь обминул. Да не только кризисами, но, допустим, долгими раздумьями – также. Из-под его пера литературная продукция идет лавинным потоком: «Раковый корпус» – 25 листов! «В круге первом» – 35 листов!! «Архипелаг ГУЛАГ» – 70 листов!!! «Бодался теленок с дубом» – 50 листов!!! А там еще необъятное 10-томное «Красное колесо», огромный двухтомник «Двести лет вместе», еще повести, пьесы, рассказы, воспоминания, литературные портреты... Так плодовиты только гении да графоманы.

Некоторые исследователи решительно заявляют о Достоевском, что прототипом его героев чаще всего служил он сам. Другие говорят, что дело обстояло несколько иначе: великий романист не послужил прототипом ни для одного своего персонажа, но все, что он писал, в

²⁶ Ржезач Т., с. 190. Точнее, Ржезач пишет: «она из еврейской семьи» и ссылается на беседу с М.П. Якубовичем, в свое время видным лидером меньшевиков, членом их Союзного бюро. С ним Солженицын мог встречаться в заключении, а уже на свободе Якубович предоставил ему некоторые материалы исторического характера о событиях 1917 года, о чем, как видно из записки Ю. Андропова в ЦК от 6 июня 1975 года, позже он пожалел. Но как Якубович мог знать о национальности Светловой? Ржезач приводит его слова: «Солженицын обратил ее в православную веру. Она крестилась, а он стал ее крестным отцом» (с. 179). Из этого никак не следует, что она еврейка. Просто, будучи русской, она могла быть некрещеной, что для человека 1936 года рождения совсем не удивительно. Больше похоже на то, что так думал сам Ржезач, исходя из того, что имя матери Светлановой – Екатерина Фердинандовна. Но, разве Фердинанд уж такое шибко еврейское имя? Ну, Фердинанд Лассаль... Кто еще? В книге Эм. Бройтмана «Знаменитые евреи» (М., 2000) среди 180 имен я не сыскал ни одного Фердинанда. Имя далеко не всегда надежное средство для определения национальности. Был, например, в царской армии крупный военачальник генерал от артиллерии Николай Иудович Иванов. И что, он еврей? А ныне на телевидении фигурирует Иван Дыховичный? И что, он русский? А что касается национальности Светлановой, то более достоверна тут, пожалуй, записка о ней Ю. Андропова в ЦК от 12 октября 1976 года, где она названа русской (Кремлевский самосуд. М., 1994. С. 552). Но, конечно, поскольку национальность у нас пишут в документах со слов, то она вполне могла считаться русской и в том случае, если даже ее мать была дочерью Фердинанда Лассалья (1825–1864). К тому же, можно заметить, что Лассаль был организатором и руководителем Всеобщего германского рабочего союза, а Светлана работала в Институте международного рабочего движения. Не пошла ли по стопам своего предка? – В. Б.

известном смысле было писанием о самом себе, т. е. как художник он в первую очередь «черпал из себя». Еще более охотно и обильно «черпает из себя» Солженицын. Так, даже при беглом чтении видно, что Глеб Нержин, главный герой романа «В круге первом», – это очень во многом сам автор. Обстоятельное сопоставление увело бы нас сейчас слишком далеко, но один выразительный штришок все же приведем. Нержин признается приятелю: «Живой жизни я не знал никогда, книгоед, каюсь...» В этом же каялся в письме к жене и создатель образа Нержина: «Вырастает тридцатилетний оболтус, прочитывает тысячи книг, а не может наточить топора или насадить молоток на рукоять».

Но вернемся к биографиям. Тут, пожалуй, интересней всего, как тот и другой держали себя в ситуациях нештатных.

Фома Опискин и диалектика

Продолжим навязанное нам сопоставление... Б. Бурсов пишет: «Собственная натура пугала Достоевского. Он боялся и своего ума. Не только его громадности, но, я бы сказал, чрезмерной диалектичности, способной вывести противоположные заключения из одного и того же положения».

Солженицына собственная натура не пугает, наоборот, она ему весьма симпатична, хотя порой для порядка он может ее и пожуричь. Не страшит, не обременяет его и громадность дарованного ему интеллекта. Что же касается «чрезмерной диалектичности» мозговых извилин, способных у него не только к противоположным выводам из одного и того же факта, но и умеющих из черного делать белое, а из белого – черное, то эта «диалектичность» просто восхищает его, и он не без некоторой выгоды пользуется ею при каждом удобном случае.

Редкую способность своего ума, исследуемую здесь, Солженицын обнаруживает при подходе не только к тем фактам и явлениям, которые касаются его лично, но и к имеющим гораздо более широкое значение. Допустим, негодовал он по поводу того, что у нас не издавали некоторых писателей 20—30-х годов, но когда издавать начали, то его возмущало и это, он опять негодовал: журнал «Москва», опубликовавший не напечатанный в свое время роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», заклеил за эту публикацию мерзким словом «трупоед»²⁷.

А однажды приключилась вот такая история. Александр Исаевич был всегда чрезвычайно внимателен к тому, что подают на стол. И довелось ему как-то присутствовать на заседании секретариата Правления Союза писателей СССР. Он принимал активнейшее участие в заседании (обсуждалось его собственное дело), но тем не менее аккуратно зафиксировал все, что было на столе: «фруктовые и минеральные воды, крепкий чай с дорогим рассыпчатым печеньем, сигареты и шоколадные трюфели»²⁸, итого – шесть наименований. «Вот они, народные денежки!» – гневно воскликнул в душе народный заступник. Но в другой раз он отмечает, что в «Новом мире» в кабинет главного редактора подавали (и то не всегда!) лишь «чай с печеньем и сушками», и это была, по наблюдению беспощадного реалиста, «высшая форма новомирского гостеприимства». Казалось бы, последнему обстоятельству народный заступник должен радоваться: это ли не сбережение национального достояния! Но нет, заступник с равной искренностью, с одинаковой страстью осуждает и то и другое: лимонад и трюфели в Союзе писателей – это, по его убеждению, едва ли не подрыв военно-экономической мощи державы, а сушки «Нового мира» – воплощение редакционного скупердяйства²⁹.

Оказавшись уже за границей, в 1975 году, в одном выступлении Солженицын уверял своих слушателей, что в нашей стране «нищенский уровень жизни». Но ведь раньше, негодуя по поводу того, что в тюрьмах и лагерях пища, возможно, действительно довольно проста (а с чего бы там угощать разносолами?), он гневно восклицал: «Это – сейчас, сегодня, когда ломаются наши продуктовые магазины!»³⁰. Ну, так ли уж они ломались, наши магазины, это вопрос особый, нас-то интересует здесь все та же диалектичность ума, которая позволяет одно-

²⁷ «Теленок», с. 274.

²⁸ Там же, стр.187.

²⁹ Впрочем, у В. Лакшина, сотрудника тогдашнего «Нового мира», воспоминания на сей счет совсем иные: «...В кабинет вносили стаканы с чаем на подносе и мягкие свежие бублики, доставлявшиеся по просьбе Александра Трифоновича из голубого павильона с угла улицы Чехова и Садового кольца. Начиналось традиционное чаепитие» (Литературное обозрение, №6, 1981, с. 101). Уж не знаешь, кому и верить! Странно, однако, предположить, что с появлением в редакции Солженицына мягкие бублики из голубого павильона прятались в сейф, а извлекались оттуда сушки, специально для Александра Исаевича припасенные. Но не исключено, что работники журнала рассуждали так: «Он на шестьдесят рублей в месяц живет, к благо-родной пище не привык...» – В. Б.

³⁰ «Архипелаг», т. 3, с. 533–534.

временно твердить и о нищенском уровне страны, и о ее изобилии, правда, – в разных местах для разных слушателей.

Произнеся однажды длинную речь перед американцами, Солженицын закончил ее так: «Я сегодня, может быть, вмешался в ваши внутренние дела или как-то коснулся их, простите...»³¹. Просит прощения только за то, что коснулся. Какая деликатность! Да, наш герой решительно против вмешательства в дела других государств, особенно – против вмешательства нашей страны, например, в дела США. Об этом он заявлял неоднократно и чрезвычайно горячо. Но вот с какими заклинаниями обращался он в той же речи к американцам немного раньше: «Я говорю вам: пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши (т. е. в советские. – В.Б.) внутренние дела... Мы просим вас – вмешивайтесь!...»³² Такая диалектичность чрезвычайно похожа на дышло, о котором давно сказано: куда повернул, туда и вышло.

Много слов и сока своих нервов Солженицын потратил на то, чтобы доказать: служба государственной безопасности работает у нас нерасторопно, неквалифицированно, топорно. КГБ – это, мол, сборище неумех и недотеп. Допустим, мы ему поверили бы. Но в 1975 году американцы устроили у нас в стране выставку криминалистической техники. Ему не понравилось установление даже такого рода связей, и он принялся нашептывать всей Америке: «Надо знать ловкость КГБ: не то что две-три недели надо было стоять этой технике в советских помещениях под советской охраной, достаточно было двух-трех ночей, чтобы кегебисты все уже рассмотрели и перекодировали». Вот так недотепы! Да выходит, что ни сотрудник КГБ, то и знаменитый Левша: им американскую сверхсекретную штуkenцию в два счета скопировать, как тому аглицкую блоху подковать.

Ярчайший образец диалектичности Солженицын являет в рассуждении о тех, кто во время войны сотрудничал с оккупантами. Он квалифицирует это сотрудничество как «свободное владение своим телом и личностью»³³. Да, одни отдавали свое «тело» и «личность», саму жизнь защите родины, а кое-кто в полном соответствии с диалектическим солженицынским представлением о правах человека – оккупантам. Свобода! Писатель особенно красноречив в оправдании и защите иных особ женского пола, у которых (увы, это случалось) сотрудничество доходило до постельного сожительства. Тут он даже взывает к великим духовным сокровищам человечества: «Да не вся ли мировая литература воспевала свободу любви от национальных разграничений? от воли генералов и дипломатов?»³⁴.

Какая интересная получается картина: немцы-то, фашистская-то солдатня, взламывая границы чужих государств, оказывается, освобождали при этом народы Европы от оков национальных разграничений, несли им на своих штыках свободу личности, свободу любви. Да уж не ради ли этих свобод, видя досадный недостаток их в других странах, и войну-то они развязали? Не для большей ли крепости утверждения сих ценностей прихватывали с собой душегубки, строили концлагеря, сооружали крематории? Истинно так! – утверждает Солженицын. Душегубки – это только подспорье свободы, только третьестепенная деталь оккупации, а главным-то были куртуазность захватчиков, тонкость их обхождения, деликатность воспитания. Ведь помянутые особы «были покорены» не чем иным, а – «любезностью, галантностью, теми мелочами внешнего вида и внешних признаков ухаживания, которым никто не обучал парней наших пятилеток»³⁵. Он готов извинить этих бедных «парней пятилеток», он даже проникся бы, возможно, симпатией к ним, если бы только не вели они себя так нелюбезно и негалантно

³¹ Русская мысль, 17 июля 1975 г.

³² Там же.

³³ «Архипелаг», т.3, с.6.

³⁴ Там же.

³⁵ «Архипелаг», т.3, с.6.

по отношению к защитникам свободы любви, главным девизом которых было восклицание «Хенде хох!».

Нам уже неважно, а Солженицын все продолжает демонстрировать свою диалектичность, защищая тех же особ: «Кто они были по возрасту, когда сходились с противником не в бою, а в постелях?.. Они воспитаны ПОСЛЕ Октября в советских школах и в советской идеологии! Так мы рассердились на плоды рук своих?»³⁶. Следовательно, какую бы мерзость, какое бы преступление человек ни совершил, внушает нам диалектик, мы не вправе «сердиться» на него, если он учился когда-то в советской школе, ибо в этом случае перед нами не что иное, как «плод» наших собственных рук. И буржуазное общество тоже не имеет права сердиться на своих мерзавцев, ибо они, тамошние мерзавцы, опять же «плоды» не чьих-нибудь, а собственных рук. Допустим, осуждать Гитлера или Эйхмана какого-нибудь – за что? Ведь они всего-навсего «плоды»! Помнится, давным-давно у такого взгляда на мерзавцев всего мира были весьма горячие сторонники, но, к счастью, кажется, ни один из них не дожил до дней Нюрнбергского процесса.

Под этот эксгумационного происхождения взгляд, разумеется, полностью подпадает и сам Александр Исаевич: какое право имеем мы «сердиться» за все проделки его «тела» и «личности», какие могут быть с них взятки, если он родился через год с лишним после Октября, и бегал в советскую школу, и учился в советском вузе, и получал там Сталинскую стипендию, и был комсомольцем, и даже участвовал в драмкружке!

Вот, допустим, однажды в пору своего наибольшего успеха направился Солженицын в Институт изучения причин преступности. Цель при этом, очевидно, состояла в ознакомлении с работой данного учреждения, с ее результатами. обстоятельно побеседовал с заместителем директора. Все прекрасно. А потом произошло следующее: заместитель, уже провожая гостя по коридору, вдруг предложил ему зайти познакомиться к директору. Совершенно ясно, что побуждение тут было самое доброе: у директора визитер мог получить какие-то дополнительные важные сведения, расширить и углубить свое представление об интересующей проблеме и т. д. Как же диалектический ум Солженицына расценил этот несомненно добрый и любезный жест? А вот: «обманом завернул меня... Это посещение не планировалось! Мы уже все обговорили, зачем?»³⁷. Словом, в его глазах добрый жест – обман, измена, коварная засада, и он уже едва не кричит «Караул!». Когда Солженицына выдворяли из страны, то в самолете до Франкфурта-на-Майне, естественно, его сопровождали какие-то должностные лица, человека два-три. Он смотрит на них с крайним подозрением, но убеждается, что в руках у них нет никакого оружия. Это его несколько успокаивает. «Я понимаю, что такое открытая ладонь, – скажет наш герой позже. – Откройте эту ладонь, и все увидят, что в ней нет камня». Так вот здесь он своими глазами видит, что ладонь открыта и что камня нет, но вскоре диалектический ум подсказывает совершенно иной взгляд на дело: «Да, руки у всех пусты, т. е. свободны»³⁸, – свободны для действия, для расправы, и все остальные два часа полета до Франкфурта он напряженно ждет, что на него прямо тут, в самолете, кинутся эти люди со свободными руками, и жуткая расправа начнется. Ну, например, как Аркашку Счастливецова при переездах трупы в большой мороз, закатают в половик, который лежит вдоль всего салона, но не затем, чтобы по прибытии на место, как того Аркашку, откатать, а чтобы ловчее сбросить с высоты восьми тысяч метров где-нибудь над Эльбой или Майном. Это им просто! И еще объявят, что выпал, дескать, нобелиат в результате им же затеянной драки или попытки захватить самолет.

Чрезмерная диалектичность ума Солженицына наглядно обнаруживается и при более пристальном сопоставлении семейной жизни – женитьб, разводов, новых женитьб – его и

³⁶ Там же.

³⁷ «Архипелаг», т. 3, с. 553.

³⁸ «Теленок», с. 475.

Достоевского. Допустим, у того и другого были соперники, точнее говоря, люди, которые стояли на их пути и мешали или могли помешать им соединиться с избранницами. Через отношение к этим людям в обликах обоих приоткрывается нечто довольно существенное.

Когда весной 1854 года в Семипалатинске «солдат без выслуги» Достоевский влюбился в Марию Дмитриевну Исаеву, она была замужем. Ее муж, Александр Иванович, учитель, болел чахоткой и сильно пил. Достоевский видел, как страдают любимая женщина и ее малолетний сын, и не мог не желать какого-то разрешения их судьбы, освобождения в той или иной форме от горькой участи, виновником которой был слабый и больной человек. Но вот Александр Иванович умер. Это было разрешение. А кроме того, не просто умер соперник – рухнуло препятствие на пути к любимой. И как же отозвался на эту смерть Достоевский? Он писал в те дни А.В. Врангелю: «Вы не поверите, как мне жаль его, как я весь расстроен. Может быть, я только один из здешних и умел ценить его».

Для тех, кто усомнится в искренности приведенных слов Достоевского, судьба словно нарочно заготовила в его жизни еще один подобный искуc. Незадолго до смерти Исаев был переведен по службе в Кузнецк, и там, видимо, уже после его кончины, у молодой и обаятельной вдовы появился новый почитатель – Николай Борисович Вертунов, тоже учитель.

Вероятно, это оказалось довольно серьезной опасностью для чувств и намерений Достоевского, остававшегося в Семипалатинске, если он писал: «Я трепещу, чтобы она не вышла замуж...» Но наконец Мария Дмитриевна соглашается стать женой Достоевского. О, сколь многие из нас ощутили бы при этом не только радость, но и чувство превосходства над вчерашним соперником, презрение к нему, злорадство! Что же Достоевский? Он занят устройством соперника на службу, он умоляет того же Врангеля: «На коленях готов за него просить. Теперь он мне дороже брата родного, не грешно просить, он того стоит... Ради Бога, сделайте хоть что-нибудь – подумайте и будьте мне братом родным». В результате Вергунов получил место. С полным основанием эти «заботливые хлопоты о своем сопернике» Врангель считал доказательством того, «какая высокая душа, незлобивая, чуждая всякой зависти была у Федора Михайловича».



Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) – русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской АН с 1877 года.

*«Целый мир не стоит и одной слезы ребенка»
(Федор Достоевский)*

Как же относился к своему сопернику Солженицын?

Напомним его семейную историю. Он женился на Н. Решетовской весной 1940 года, в конце апреля, а в середине октября 41-го его взяли в армию. Таким образом, их семейная жизнь не длилась непрерывно и полутора лет, а после этого потекли долгие годы разлуки, лишь иногда прерываемые краткими свиданиями. Н. Решетовская так описывает состояние своей души летом 1951 года, т. е. к исходу десятого года разлуки: «У моей двоюродной сестры Нади только-только родилась Мариночка, смешной такой несмышлениш... А Таниной Галке уже 6 лет, мотается на велосипеде... А у меня так никогда никого и не будет?..» Думается, эта грустная зависть вполне понятна в устах 33-летней соломенной вдовы. Как вполне понятно и то, что пишет она дальше: «Наше будущее с Саней казалось мне сверхдалеким... Он сам уже не воспринимался мной как живой человек во плоти и крови... Призрак... Скоро полтора года, как мы не виделись. Следующее письмо придет только осенью или зимой. Короткие открытки на имя тети Нины о получении посылок, будто отзвуки с другой планеты... Камин медленно угасал... Далекий любимый образ стал расплываться...

А когда я получила в Кисловодске письмо от В.С., то почувствовала, что получила письмо от реального человека...» Вдовец В.С., доцент-химик, настойчиво предлагал ей стать его женой. После сомнений и колебаний, весной 1952 года, т. е. на одиннадцатом году разлуки она наконец решилась и пишет об этом вполне честно: «Не буду себя ни оправдывать, ни винить. Я не смогла через все годы испытаний пронести свою «святость». Я стала жить реальной жизнью... Я написала Сане, что у меня есть семья и что это настоящее...»

Решетовская жила в Рязани. Истекал 15-й год их фактической разлуки; решение молодой полной сил женщины после долгих лет одиночества разорвать наконец его мертвящий круг по-человечески так понятно; судя по фактам, которые она сообщает, новый муж любил ее, и она была довольна своей надежной, прочной семьей; эта новая семейная жизнь длилась уже пятый год; наконец, у нового мужа было двое малых детей, с которыми у Решетовской наладились самые добрые отношения, и она им в известной мере заменяла умершую мать.

И вот, несмотря на все это, Солженицын предпринимает решительные, энергичные и сильнодействующие меры с целью вернуть бывшую жену, точнее – с целью вернуться к ней. В ход идет все: и письма с чувствительными воспоминаниями о прошлом, и подстроенные общими знакомыми неожиданные для нее тайные встречи в Москве, и стихи собственного сочинения:

Вечерний снег, вечерний снег
Напоминает мне бульвар,
Твой воротник, твой звонкий смех,
Снежинок блеск, дыханья пар...³⁹

Н. Решетовская – образованный, эстетически воспитанный человек, талантливая музыкантша, но – она и женщина. Только последним обстоятельством можно объяснить, что такого-то рода стихи, как видно, и сыграли здесь решающую роль. Много лет спустя она скажет: «Свидание с Саней и его стихи разбередили мне душу»⁴⁰. Дальше дело пошло проще и до того успешно, что месяца через три-четыре после первого свидания и стихов совместная жизнь Решетовской с В.С. оказалась разрушенной, а еще через месяц-полтора Солженицын уже был хозяином в ее доме в декабре 1956 года.

³⁹ Решетовская Н., с. 138.

⁴⁰ Мы не будем в дальнейшем злоупотреблять цитированием стихов Солженицына. Уж пусть читатель поверит, что мы его не обкрадываем, не лишаем бесценных эстетических сокровищ. Даже о тех стихах, которые автор пытался опубликовать в «Новом мире», В. Лакшин вспоминает так: «Стихи свои Солженицын давал Твардовскому лично и, так сказать, «домашним способом», и тот браковал их в одиночку: «Этого вам даже читать не надо», – говорил он мне» («XX век», с. 176) – В. Б.).

Чем объяснить такое страстное стремление нашего героя во что бы то ни стало вернуться к прежней жене? Сам он объясняет возвращение в 20-х годах на родину Максима Горького голой корыстью: оказавшись, мол, за границей, он «с удивлением не обнаружил вокруг себя мировой славы, а затем – и денег. Стало ясно, что за деньгами и оживлением славы надо возвращаться в Союз» («Архипелаг», т. 2, с. 62.). Доказательств такого объяснения не приводится, их нет, а возможность того, что писатель вернулся на родину из простой и вековой у людей любви к ней, автор исключает.

Удивительный человек! Конструируя подобного рода обвинительные сооружения, он почему-то никогда не может сообразить, что ведь тем самым дает право другим использовать эти методы конструирования против него. Действительно, если он отказывает большому писателю в таком основополагающем, свойственном в той или иной мере едва ли не всем чувстве, как любовь к родине, «к отеческим гробам», то почему бы и нам не допустить, что столь частное и личное, хрупкое и прихотливое чувство, как любовь к определенной женщине, за полтора десятилетия разлуки угасло, испарилось, умерло? Если он заявляет, что Максимом Горьким в его решении вернуться руководила не любовь, а корысть, то отчего и нам не высказать предположение, что он вернулся к жене не из любви, а по расчету? Тем более что у него-то нет никаких доказательств – ни прямых, ни косвенных, ни лирических, ни психологических, а у нас кое-что наводящее на сомнение имеется: и длительность разлуки с Решетовской; и имевшие место его попытки жениться на других женщинах; и то, что жил он в ту пору довольно трудно, получая небольшую учительскую зарплату, снимал угол у хозяйки в глухой владимирской деревне, а бывшая жена – кандидат наук, доцент, заведует кафедрой в областном городе недалеко от Москвы, получает около четырехсот рублей, живет в двухкомнатной квартире, – это все и теперь, право же, очень неплохо, а уж в 1956-го году было до ужаса соблазнительно. Особенно, конечно, для человека, только что вернувшегося к нормальной жизни после долгих лет лагерей и ссылки, а сверх того – решившего посвятить себя литературному труду, требующему времени, покоя и благоприятных условий быта.

Да, все это мы могли бы допустить, все это имеем право предположить, но... ведь нас интересует здесь другое: как отнесся победитель к поверженному сопернику, принужденному расстаться с любимой женщиной, с дорогим для него домом, с уже давно привычным укладом жизни и почти в пятьдесят лет вернуться на холостую стезю с двумя мальчиками-сыновьями? Кстати, Солженицын был на десять лет моложе своего соперника, а Достоевский – на десять лет старше. Но тут возникает еще и особое обстоятельство: Решетовская пишет, что, добившись ее согласия на возобновление совместной жизни, «Саня считал своим долгом еще и еще предостеречь меня, на что я иду. Ведь он серьезно и безнадежно болен, обречен на недолгую жизнь. Ну год, ну два...»⁴¹. Вот ведь как: разоряя дотла чужое семейное гнездо, Солженицын предполагал просидеть на его развалинах не более двух лет! Уже одно это, казалось, должно было породить сознание великой вины перед изгнанным соперником. Увы, ничего подобного не произошло. Солженицын не только не испытывал никакой вины перед ним, но и назвал его «негодяем», ибо он, мол, «соблазнял к женитьбе жену живого мужа»⁴². Решетовская заметила по этому поводу: «А позже сам не остановится перед тем, чтобы при живой жене соблазнять женитьбой другую женщину...»⁴³.

И еще до этого был случай, когда Солженицын признался жене, что полюбил другую женщину и находится в известных отношениях с ней. Жена ответила так, как в ее положении ответили бы многие: если чувство столь велико и необоримо, то забирай свои пожитки и отправляйся к новой возлюбленной; а если это всего лишь интрижка, то зачем о ней рассказывать?

⁴¹ Решетовская Н., с. 141.

⁴² Там же, с. 120.

⁴³ Решетовская Н., с. 204.

Александр Исаевич был глубоко оскорблен таким ответом, он заявил, что его не за что иное, а лишь «за правду гонят из дома»⁴⁴. Диалектический ум позволял ему без особого труда назвать человека, которого сам сделал несчастным, – негодяем, свою прямую измену жене – правдой, а закономерный на это ответ жены, продиктованный чувством собственного достоинства, представить гонением на горемычного правдолюбца. Ах, как все это похоже на поведение Фомы Фомича Опискина у Достоевского!.. Фома тоже уверял, что его гонят за правду.

⁴⁴ Там же.

И жизнь, и любовь, и смерть – по плану!

Достоевский, как уже говорилось: человек страсти, порыва. В его жизни было немало странных внезапных поступков. А у Солженицына все заранее обдуманно, взвешено, все спланировано наперед. Почти всегда его жизнь – это «сеть замыслов, расчетов, ходов»⁴⁵. Рассказывая о себе, он то и дело отмечает: «Мой план был такой»⁴⁶, «У меня зародился новый план... Этот планчик застал Твардовского врасплох»⁴⁷ и т. д.

В студенческие годы по разным дисциплинам, которые изучал в университете, Солженицын делал бесчисленные выписки, систематизировал их, составлял картотеки. И уже это было, конечно, не чем иным, как одним из проявлений склонности к планированию. В зрелую пору он расписал по карточкам всю огромную книгу Даля «Пословицы русского народа». Н. Решетовская вспоминает: «Чтение, разметка, выписывание, переклассификация... Я перепечатывала пословицы на машинке. Муж мечтал иметь дома вазу, наполненную карточками с пословицами, чтобы их вынимать, перебирать». Голубая мечта зубрили! В рязанскую пору своей жизни, впервые задумав поехать в Ленинград, Солженицын долго работал над большой картотекой по истории, художественным достопримечательностям и некоторым особенно интересным маршрутам города. За несколько месяцев до поездки даже выписал в Рязань «Ленинградскую правду», чтобы быть в курсе городских новостей. И такая же обстоятельная запланированность предшествовала поездкам на Байкал, в Прибалтику и другим путешествиям, которых было много.

Тщательно (и небезуспешно!) старался он спланировать свой литературный дебют, в частности, его момент: «Нельзя было ошибиться! Нельзя было высунуться прежде времени. Но и пропустить редкого мига тоже было нельзя!»⁴⁸.

Позже в театре «Современник» готовилась пьеса Солженицына «Олень и шалашовка», а в «Новом мире» вот-вот должны были появиться его новые рассказы. Страшновато: вдруг спектакль после первого же представления прихлопнут? Ведь говорил сам Твардовский, что если бы от него лично за висело, то он бы эту пьесу запретил. И что, если запрет спектакля пагубно скажется на судьбе рассказов? Испугавшись такой перспективы, автор взял в руки карандаш и начал подсчитывать: «Тираж «Нового мира» – сто тысяч. А в зале «Современника» помещается только семьсот человек...» $100\,000 - 700 = 99\,300$. И он делает выбор в пользу журнала⁴⁹. У него были заготовлены варианты своего поведения на самые неожиданные случаи жизни. Так, одно время он жил на московской квартире Ростроповича, жил долго и безо всякой прописки. Конечно, милиция могла поинтересоваться. Но наш герой начеку: «На случай прихода милиции у меня была отличная защита придумана, такая ракета, что даже жалко – запустить не пришлось»⁵⁰. Ну, какая уж там «ракета», мы не знаем, может, та же самая, что у известного «ракетчика» Подколесина: бегство из окна или через черный ход, но как бы то ни было, а какой-то планчик и тут имелся.

Потом переехал на дачу к Ростроповичу. Здесь, как и на городской квартире, никто его не беспокоил, но он опять предусмотрел возможность внезапной встречи с представителями властей: «На такой случай лежала у меня приготовленная бумага – в синем конверте, в несо-

⁴⁵ «Теленок», с. 113.

⁴⁶ Там же, с. 201.

⁴⁷ Там же, с. 197.

⁴⁸ «Теленок», с. 20.

⁴⁹ Спектакль действительно не появился, а рассказы благополучно опубликованы. – В. Б.

⁵⁰ «Теленок», с. 293.

раемом шкафике»⁵¹. Опять не ведаем, что за таинственная бумага. Не исключено – блатная справка из психдиспансера, что поименованный гражданин по состоянию здоровья нуждается в загородной тишине и в усиленном кислородном питании.

Всякий раз, когда Солженицыну предстояло принять участие в каком-нибудь заседании (они посвящались главным образом его собственным делам), он готовился к этому с поразительным тщанием. Всегда считал нужным не только произнести речь, но и записать происходящее. «Я заготовил чистые листы, пронумеровал их, поля очертил»⁵², – говорит в одном случае. В другом: «Пришел раньше назначенного на пять-семь минут, чтобы не на коленях досталось писать, а захватить бы место у единственного круглого столика, на нем бы разложиться со всеми цветными ручками...»⁵³. Все обдуманно, все предусмотрено!

Направляясь в «Новый мир» на обсуждение своего романа «В круге первом», романист программировал даже то, в какой очередности здороваться с членами редколлегии: «Еще входя, я постарался в таком порядке поздороваться, чтобы с Дементьевым – последним»⁵⁴. Не знаем, заметил ли А.Г. Дементьев сей страшный удар по своему самолюбию. Право же, не так легко представить себе ситуацию, которую Солженицын не моделировал бы в уме и мысленно не предопределял бы свое поведение в ней. Диапазон тут и во времени, и в характере ситуаций широчайший. Так, твердо запланировав сделать предложение Решетовской 2 июля 1938 года, Саня шел на свидание, имея в кармане заранее написанное письмо, которое вручил бы ей в том случае, если она отказала бы. Ах, мол, нет? Ну тогда, дорогая Наташа, прочитай, пожалуйста, это, а там посмотрим. С другой стороны, будучи уже вполне зрелым человеком, он мысленно рассматривал даже конец Хрущева и «к возможной смерти Хрущева приуговлялся»⁵⁵. Впрочем, что там Хрущев! Приуговлялся и к смерти своих собственных детей. И умер по плану! Заранее выбрал место могилы на кладбище Донского монастыря в Москве и уговорил патриарха освятить это место.

Итак, взгляды в облики Достоевского и Солженицына, мы видим, что, в сущности, перед нами два не только разных, но и противоположных по своей духовно-нравственной основе человека. Но как же так? Ведь вначале, плененные смелостью и оригинальностью идеи западных исследователей Солженицына, мы невольно находили столько разительных совпадений! Неужели все это мираж, обман зрения, гнет чужой мысли? Видимо, для выяснения этого нам не остается ничего другого, как перелистать страницы назад и вновь внимательно взглянуть в некоторые из тех многочисленных совпадений.

⁵¹ Там же, с. 363.

⁵² Там же, с. 201.

⁵³ Там же, с. 280.

⁵⁴ Там же, с. 30.

⁵⁵ «Теленок», с. 101.

Игра в жмурки со всевышним

Начнем опять с биографий.

Родители обоих писателей были людьми набожными и именно под влиянием семьи произошло у них первое соприкосновение с религией, с церковью. Действительно, все так. Но как обернулось дело дальше?

Достоевский хотя и спорил всю жизнь с Богом, хотя иные его герои даже отрицали установленный свыше миропорядок, но другие герои были проникнуты религиозной мыслью, а князь Мышкин вообще замыслился им как некое подобие самого Христа в реальной жизни. О Достоевском по меньшей мере можно сказать, что он был человеком, жаждавшим верить. Солженицын уверяет, что у него, как внука богатого до революции деда и сына царского офицера, да к тому же верующей матери, было кошмарное детство: «В девять лет я шагнул в школу, уже зная, что там всегда меня могут ждать допросы и притеснения. И в десять лет, при гоготе, пионеры срывали с моей шеи крестик. И в одиннадцать и двенадцать меня истязали на собраниях, почему я не вступаю в пионеры». Срывали ли с Солженицына крестик, принуждали ли его вступать в пионеры, об этом подтверждающих свидетельств нет, но вот допросы, притеснения действительно имели место. Дело в том, что, несмотря на жуткий террор тупой толпы, вопреки чудовищным истязаниям одноклассников, Саня рос вовсе не забитым да несчастным набожным мальчиком. Наоборот, он был довольно резв. Однажды, вспоминает, дорезвился, например, вот до чего: «Исключили из школы нас троих: меня, Кагана и Мотьку Гена за систематический срыв уроков математики, с которых мы убегали играть в футбол. Я же — еще и классный журнал похитил, где был записан дюжину раз». (Заметим, что дело было в сентябре, в самом начале учебного года, а уже — дюжину раз! Это выразительно характеризует интенсивность Саниной резвости.) Конечно, вышибон из школы есть не что иное, как притеснение, даже репрессия. Вероятно, что при этом внуку богача и сыну офицера был учинен и подлинный допрос: «Как посмел украсть классный журнал? Куда дел его? Небось за границу переслал?» и т. п. Впрочем, через несколько дней последовала амнистия и опасный элемент снова был зачислен в ту же школу, в тот же класс...

Если Солженицын даже и носил в детстве нательный крест (Н. Решетовская это отрицает), то сей факт, конечно, еще не говорит о его религиозности. Ни церковные впечатления, ни старания матери не сделали его верующим. Едва прикоснувшись к религии, «он отошел от этого», как пишет та же Решетовская. Сам писатель настаивает все же, что в детстве был верующим, но факта крушения детской веры не отрицает, более того — свидетельствует об этом посредством очень смелых неологизмов и крайне свежих рифм:

Кровь бурлила — и каждый выполоск
Иноцветно сверкал впереди, —
И без грохота, тихо рассыпалось
Зданье веры в моей груди...

В 1950 году он писал жене: «До того, чтобы поверить в бога, я, кажется, еще далек». Но уже в феврале 1952-го, после удачной операции по поводу опухоли в животе, радостно восклицал в только что цитированном изящном стихотворении:

И теперь, возвращенною мерою
Надчерпнувши воды живой, —
Бог Вселенной! Я снова верую...

Как видно, именно с того февраля, когда ему, как Блаженному Августину в пору принятия христианства, было как раз тридцать три года, Солженицын и числит свое возвращение к религии и церкви⁵⁶.

И однако же, хотя Солженицын возвестил о своем возвращении в лоно веры возвышенными стихами, хотя он пишет статьи по вопросам религии и печатается в «Вестнике русского христианского движения» (США), хотя, как уже упоминалось, в 1983 году ему присудили отменно увесистую религиозную премию, несмотря на все это, религиозность Солженицына представляется делом несколько сомнительным.

Конечно, вера – это вопрос души, это тайна, и доказать ее наличие или отсутствие посредством прямых логических доводов сплошь да рядом не представляется возможным, но сам Солженицын утверждает, что «доказательства могут быть косвенные, лирические». Даже лирические! Использует он и такие аргументы: «Нельзя проверить, но как-то верится»⁵⁷. Что ж, обратимся и мы к доказательствам и аргументам, аналогичным тем, которые признает и использует сам Солженицын. Вот некоторые из них.

Во-первых, по нашим лирическим наблюдениям, истинно верующие люди если и не молчат о своей вере, то, уж во всяком случае, не носятся с ней как с писаной торбой, не кричат на всех перекрестках, не суют ее в нос каждому встречному-поперечному, не устраивают из нее спектакли с грубо малеванными декорациями, а Солженицын делал все это с превеликой охотой. Разве не декорации, разве не спектакль, например, в той назойливости, с какой он датирует разного рода литературные и житейские дела да факты через церковные праздники и знаменательные религиозные дни? Особенно много этой религиозной театральщины в книге «Бодался теленок с дубом». Например: «Шла Вербная неделя... В субботу 15-го в вечерней передаче Би-би-си услышал: в литературном приложении к «Таймсу» напечатаны «пространные отрывки» из «Ракового корпуса»... Пришли Божьи сроки!...» И дальше без конца все в том же роде: «Сгущается все под 9 июня, под православную Троицу...», «В Духов день, в середине июня, выпустил свое письмо...», «Дату нобелевской церемонии – 9 апреля, на первый день православной Пасхи, Гиров объявил, кажется, 24 марта...», «Опубликовать интервью назначил 28 августа, на Успение...», «В Париже вышел на русском языке первый том «Архипелага». Я просил его и ожидал – 7 января, на православное Рождество...» и т. д. Второе обстоятельство, которое заставляет сомневаться в том, что Солженицын искренне верующий человек, это явные странности в его рассуждениях о Боге и о Божьем могуществе. Ну, как же! Вот он пишет, что был тяжело болен, что спасло его Божье чудо, и именно тогда он, как помним, воскликнул:

Бог Вселенной! Я снова верую!

Это в стихах. А в прозе мысль дальше развивается так: «Вся возвращенная мне жизнь с тех пор – не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель», иначе говоря, теперь она принадлежит Богу. Неожиданная получается картиночка: жизнь Солженицына стала принадлежать Богу, и Он сделался ее хозяином «в полном смысле», получил возможность «вложить» свою «цель» лишь после того, как Александр Исаевич обратил на него свой взор и поверил, а раньше ничего подобного не было, и гордый атеист сам являлся полновластным властелином своей жизни и своей судьбы. Выходит, Бог-то командует только теми, кто признает его, а неверующими, у коих как бы на глазах повязки, он не занимается: живите, мол, как хотите. Сол-

⁵⁶ Впрочем, рассказывая о войне, Солженицын восклицает: «Господи, Господи! Под снарядами и бомбами я просил тебя сохранить мне жизнь» («Архипелаг», т. 2, с. 194). Вопрос о снарядах и бомбах, будто бы градом сыпавшихся на голову Александра Исаевича, мы в надлежащем месте проясним, но так и останется темноватым вопрос о его взаимоотношениях с Богом в пору пребывания на фронте: то ли уже тогда, в 1943–1945 годах, он считал себя верующим, то ли в критические моменты считал себя вправе обращаться к Богу и без веры в него – так, на всякий случай, по известному соображению: «А вдруг?» – В. Б.

⁵⁷ «Архипелаг», т. 1, с. 446.

женицын проповедует некий административно-ведомственный, но весьма демократический принцип в религии, он рисует нам Царство Божие в виде какого-то добровольного клуба, что ли: уплатил взнос в виде признания законности его президента – проходи, и тут уж ты целиком подчиняешься власти президента, уставу клуба, а те, кто остается за стенами, пусть живут сами по себе. Демократизм вещь прекрасная, но спрашивается: похож ли на истинно верующего тот, кто в мыслях своих низводит Всевышнего до выборной должности президента клуба?

Вывод из этого напрашивается такой: или Солженицын, иногда для маскировки декламируя о всеохватно-руководящей роли Провидения, на самом деле проповедует новую религиозную ересь, суть которой в непризнании власти Бога над неверующими, т. е. в весьма существенном ограничении Его могущества, отчасти подобном тому, что мы видим при переходе от монархии абсолютной к конституционной (приверженцев этой ереси можно было бы так и назвать: конститутствующие во Христе), или перед нами факты элементарной непросвещенности в вопросах религии. Оба вывода равнозначны в том смысле, что дают новую пищу для сомнений в подлинности солженицынского верования, но мы все же склонны ко второму. Тем более что есть много и других свидетельств удивительной религиозной непросвещенности активного автора «Вестника русского христианского движения». Трудно поверить, но она доходит до неумения грамотно написать имена всех памятных библейских персонажей, известнейших религиозных деятелей, до путаницы в названиях важнейших святынь, в простейших и популярнейших понятиях. Вот лишь несколько примеров.

Кто из мало-мальски образованных людей, даже неверующих, даже никогда не читавших Библии, не слышал о Голиафе, библейском великане, сраженном пращой Давида! Слышал, конечно, и Солженицын, но пишет: «Галиаф».

Троице-Сергиева лавра – одна из древнейших святынь не только православно-верующих, но и всего нашего народа, ибо с ее именем связано много героических событий, оно то и дело блистает на страницах русской истории. А Солженицын пишет: «Троицко-Сергиевская лавра...» Будто она получила название не в честь святой Троицы и своего основателя преподобного отца Сергия, а в память безвестных товарищей Троицкого и Сергиева.

После этого можно ли удивляться таким, допустим, вещам. Дается в пересказе известное изречение «От меча погибнете сами вы, взявшие меч» и указывается источник: Евангелие от Матфея, 25,52. Получив уже достаточно ясное представление об учености нашего доморощенного богослова, невольно испытываешь потребность проверить – так ли это? Достаем с заветной полочки Библию, открываем искомое Евангелие и видим: там и стиха-то 52-го нет, а только 46! Мы об этом не стали бы и упоминать, если бы Солженицын не сваливал здесь свою богословскую дремучесть на самого патриарха Тихона; это, мол, он указал такой источник.

Но есть все же и библейские имена, и религиозные названия, и богословские понятия, который Солженицын и толкует верно, и пишет грамотно. Например, он совершенно правильно понимает и без единой ошибки пишет библейские имена Ирод, Каин, Иуда. Разумеется, уровень религиозно-богословских познаний Солженицына – еще один веский довод в пользу сильных сомнений: истинно ли верующий человек перед нами? Если он не нашел времени на то, чтобы разобраться даже не в тонкостях, а в довольно существенных понятиях и фактах религии, если не пожелал потратить труда, чтобы все это органично усвоить, впитать, значит, у него нет любви, значит, он относится ко всему этому несерьезно, кое-как, – откуда же тут взяться вере?

Наконец, мы подходим к нашему последнему и, может быть, самому вескому доводу. Он неплохо высказан Львом Копелевым, который знал Солженицына на протяжении долгих лет, вместе с ним отбывал заключение, потом помогал ему в литературных делах и даже послужил прототипом для одного из героев романа «В круге первом». Вот его слова: «Из области религии мне известно очень мало. Но я сильно подозреваю, что Александр Исаевич разбирается в делах церкви меньше, чем я. И знаете почему? Ведь весь пафос христианства, как известно, устрем-

лен к таким нравственным качествам, как любовь к ближнему, прощение, терпимость. Судить и карать дано только Богу, а не какому-то человеку, который объявил себя святым. Вершина добродетели – прощение. Это основы христианства, а они, как известно, не прельстили Солженицына. Поэтому, хотим мы того или нет, его обращение к Богу наигранно и носит чисто прагматический характер»⁵⁸. Владимир Лакшин, близко знавший Александра Исаевича позже, чем Копелев, пишет: «В христианство его я не верю, потому что нельзя быть христианином с такой мизантропической склонностью ума и таким самообожанием»⁵⁹.

⁵⁸ *Ржезач Т.*, с. 179–180.

⁵⁹ XX век, с. 202.

Трагедия попки, обманутого в любви

Размышление о религиозности нашего героя естественно продолжить исследованием его философских познаний, ибо и религия и философия есть лишь разные формы мировоззрения. Это будет тем более закономерным, что в гороскопе Солженицына на сей счет говорится: «Может быть философом». Тут начать надо с утверждения Солженицына о том, что в молодости он был марксистом. Так, рассказывая о встрече в Бутырской тюрьме с неким «православным проповедником из Европы» Евгением Ивановичем Дивничем, который поносил марксизм, он пишет: «Я выступаю в защиту, ведь я марксист»⁶⁰. Поэтому западные хвалители, например, журналист Михаил Геллер, говорят о нем: «верующий, потерявший веру». Они утверждают также, что его антисоветские книги написаны «с болью обманутой любви» к марксизму. Очень эффектно! Прозревшие и раскаявшиеся всегда пользуются большим доверием, ибо принято считать, что они-то уж знают покинутый лагерь: своими глазами изнутри все видели! К тому же расстриги обычно и любопытство у всех вызывают.

Вот что, однако, выясняется при более внимательном рассмотрении дела. Солженицын рассказывает о своем изучении марксизма так: «Самого Маркса читать трудно, но существуют учебники... Я поддался этому искушению (изучить марксизм без прикосновения к Марксу. — В.Б.) и с таким мировоззрением я пошел на войну». То есть этот «марксист» самого Маркса-то не читал, не осилил, мировоззрение его сложилось по каким-то учебникам, среди которых в те давние годы могли быть и не очень удачные.

К тому же, он тогда сильно был склонен к зубрежке. Н. Решетовская рассказывает, как помним, что ее жених, а затем муж делал специальные карточки, куда заносил разного рода сведения, нужные по учебе, и то сам перебирал их, то заставлял невесту, а потом жену экзаменовывать его по ним — на прогулках, в кинотеатре перед началом сеанса, в гостях, пока еще не сели за стол, перед сном и т. д. Вполне возможно, что именно так, предварительно расписав по карточкам, изучал он и марксизм. Сочетание неудачного учебника с карточным методом изучения не могло не дать самых достослезных результатов, а именно — карточного домика познаний.

Домики, как видно, состоял главным образом из цитат. В упоминавшемся рассказе о столкновении с Е.И. Дивничем марксист-зубрила говорит именно о них как о своем главном возможном оружии в полемике: «Еще год назад как уверенно я б его бил цитатами, как бы я над ним уничижительно насмеялся!» Но теперь, констатирует он, «меня бьют почти шутя». И ничего в этом нет удивительного. Нетрудно вообразить себе картину, как происходило избивание зубрилы. Он, допустим, когда-то выписал из учебника в свою карточку: «Бытие определяет сознание», выучил на сон грядущий, запомнил на всю жизнь, и вот теперь с этой выпиской наперевес шел в атаку на «православного проповедника»⁶¹. А тот ему — такой, скажем, вопросик: «Позвольте, чадо мое, а как же, например, с самим Лениным? У него отец — действительный статский советник, семья чиновно-дворянская, бытие в детстве и юности вполне обеспеченное, благополучное, даже, извиняюсь, именщицей Кокушкино владели, а у него, несмотря на такое-то бытие, самое что ни на есть революционное сознание. Ась?» Что на это зубрила мог ответить? Ничего! В его карточках ответа не было. Одним ударом неглупого человека он был загнан в угол и там рухнул, погребенный под своим карточным домиком. Поднявшись, утеревшись, он изумился молниеносности своего разгрома. Как же так? Ведь картотека была до того хороша! Как у шарманщика, который вдвоем с попугаем торговал на ростовском базаре

⁶⁰ «Архипелаг», т. 1, с. 593.

⁶¹ На самом деле Е.И. Дивнич никакого отношения к богословию не имел. Он остался известен главным образом как руководитель пресловутой антисоветской организации НТС (Народно-трудовой союз). — *Прим. ред.*

«счастьем» из ящичка. Но факт оставался фактом. И тогда, прельстившись легкостью добычи, Солженицын сам пошел громить марксизм, сам стал проповедовать: это, мол, «слишком низкий закон, по которому бытие определяет сознание»⁶², это даже – «свинский принцип»⁶³.

За делами да заботами никто зубрилу за эту проповедь не выпорол. Никто не ткнул его носом в то, что закон-то действительно не очень хороший, если его железно прилагать к каждому отдельному человеку, к любому индивидууму. Но ведь марксисты же этого не делают! То ли в спешке, то ли действительно уж очень плох был учебник, но Саня-студент сделал в свое время усеченную выписку, а понять ее расширительно – не собрал ума. Настоящие марксисты понимают вопрос так: ОБЩЕСТВЕННОЕ бытие определяет ОБЩЕСТВЕННОЕ сознание, причем определяет, само собой ясно, в самых общих чертах. Что же касается отдельного человека, то о нем у марксистов, разумеется, есть соответствующие оговорки, хотя бы у того же Ленина: «Личные исключения из групповых и классовых типов, конечно, есть и всегда будут»⁶⁴.

⁶² «Архипелаг», т. 5.

⁶³ Там же, т. 2, с. 405.

⁶⁴ Ленин В.И. ПСС, т. 56, с. 207.



Александр Солженицын в детстве. 1920-е гг.

*«Две загадки в мире есть: как родился – не помню, как умру – не знаю»
(Александр Солженицын)*

Никто этого, повторяем, увы, не сказал ему. Поощренный безнаказанностью, зубрила уж совсем распоясался. «Да что мне Маркс! Да мне ль его бояться!» И снова с великой болью обманутой любви ринулся в бой против марксизма. Вернее, против своей картотеки. Так как при этом в какой-то мере все же приходилось иметь дело с мыслями и высказываниями людей,

которых, как говорится, голой рукой не возьмешь, то «обманутый-в-любви» и не действовал голой рукой, а всегда вооружал ее – то ножницами, то клеем, то краской.

Но вот он вытягивает клювиком из ящичка карточку, и мы читаем на ней, что к глазам Маркса такое обращение с заключенными, при котором они имеют возможность «читать книги, писать, думать и спорить» означает обращение «как со скотом»⁶⁵. Всякий согласится, что взгляд, мягко выражаясь, более чем странный, но в карточке точно указан адрес: «Критика Готской программы». Снимаем с полки 19-й том последнего Собрания сочинений Маркса-Энгельса, находим «Критику», в ней на странице 51-й есть маленький разделчик – «Регулирование труда заключенных». Слова «как со скотом» тут действительно имеются, но вот в каком, однако, контексте: Маркс пишет, что рабочие вовсе не хотят, «чтобы с уголовными преступниками обращались как со скотом», – только и всего!

Но Солженицын опять лезет клювиком в свой философский ящичек и вытягивает новую карточку. На сей раз попалась о Ленине. В ней речь идет об одной телеграмме, посланной Владимиром Ильичем 9 августа 1918 года Пензенскому губисполкому в связи с контрреволюционным восстанием в губернии. Обманутый пишет, что Ленин требовал: «провести беспощадный массовый террор...». Массовый? Это что же – террор против масс? Ленин требовал провести террор против рабочих и крестьян? Да уж как видите сами, говорит нам Солженицын и опять точно указывает источник: Собрание сочинений, 5-е издание, том 50-й, страницы 144–145. Открываем нужную страницу и действительно читаем: «провести массовый террор...» Да, да, массовый. Но там, кажется, еще что-то? Вглядываемся: «массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев». Эге, вот они, ножницы-то опять где пригодились. Хват! – и террор против мироедов да контрреволюционеров превращается в террор против трудящихся. Ловко!

В этой же телеграмме обращается внимание читателя на следующие слова Ленина: «сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города». Подумать только, негодует Обманутый, запереть «не виновных, но СОМНИТЕЛЬНЫХ!» Ну, на такое, мол, попрание законности и свободы способны только большевики! Но вот какое любопытное рассуждение встречаем мы у него в другом месте «Архипелага». Рассказывает о якобы имевшем место заговоре заключенных в одном из лагерей (май 1954 года). Насколько тут все достоверно и правдиво, судить трудно. Во всяком случае, сам рассказчик ничего своими глазами не видел, так как был уже освобожден, и повествование его от начала до конца – с чьих-то слов, если не голая собственная выдумка, и много в нем сбивчивого, противоречивого. Но в данном случае это и несущественно, важно другое. По его словам, руководитель заговора, размахивая финкой, «объявлял в бараке: «Кто не выйдет на оборону – тот получит ножа!» Угрозой, страхом смерти гнать не желающих идти людей на затеянное тобой крайне опасное, может быть, даже роковое дело, – вот уж, казалось бы, где наш защитник прав человека должен вознегодовать во всю мощь своих легких и голосовых связок. Но, странное дело, ничего подобного не происходит, и угрозу кровавой расправы над не желающими принимать участие в заговоре он спокойно и уверенно квалифицирует так: «Неизбежная логика всякой военной власти и военного положения...»⁶⁶.

Неизбежная! Но ведь в Пензенской-то губернии в августе 1918 года именно такое положение и было – контрреволюционное вооруженное восстание! И, однако же, на его ликвидацию никто не гнал под угрозой смерти всех, не принимавших в нем участия, а лишь предлагалось временно изолировать «вне города» того, кто, пожалуй, мог бы примкнуть к восстанию, – вполне естественная и логичная мера предосторожности со стороны военной власти. Да ведь еще вопрос – а было ли выполнено требование Ленина...

⁶⁵ «Архипелаг», т. 2, с. 142.

⁶⁶ «Архипелаг», т. 3, с. 99, 380.

Нет, все-таки неправильно говорит Солженицын, будто он видит жизнь, как луну, всегда с одной стороны – он видит ее всегда с той стороны, с какой ему выгодно.

Среди видных марксистов Солженицын не обошел своим вниманием, конечно, и Сталина. На него он завел целое досье – специальный ящичек. Попросим на пробу вытянуть пока хотя б одну карточку. Момент – и поднаторевший клювик уже протягивает нам: «Устами Сталина раз навсегда призвали страну **ОТРЕШИТЬСЯ ОТ БЛАГОДУШИЯ**». Последние три слова обличительно подчеркнуты и тут же прокомментированы так: «А «благодушием» Даль называет «доброту души, любовное свойство ее, милосердие, расположение к общему благу». Вывод из сопоставления слов Сталина и толкования Даля делается убийственный: «Вот от чего нас призывали отречься – от расположения к общему благу!»

Великолепная вещь словарь Даля, но Солженицын и его поворачивает к нам лишь той стороной, какая ему сейчас выгодна. А в нем, конечно же, приведены и другие, всем известные значения слова, оказавшиеся во времени более устойчивыми и более распространенными, привычными нам: **благодушие** – «самоуспокоенность, добродушное попустительство»; **благодуше-ствовать** – «наслаждаться физическим и нравственным спокойствием». Разумеется, именно это, более современное, нынешнее значение и имел в виду Сталин в своем высказывании.

Между прочим, тут Солженицын изменяет своему обыкновению – не берет цитату в кавычки и не указывает, где именно, когда это высказывание было сделано, в какой книге напечатано. Случайность? Отнюдь! Если бы он и здесь позаботился об источнике, то ему пришлось бы указать: «И.В. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза». Ах, о войне?! – воскликнул бы читатель, и ему сразу стало бы все ясно и без контрольного обращения к Далю. Да, конечно, это было сказано в речи по радио 3 июля 1941 года, может быть, в самые страшные дни войны: «Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры надо принять, чтобы разгромить врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение» (подчеркнуто мной. – В.Б.).

Если Солженицын не захотел признать, что совершил очередное жульничество, то ему пришлось проглотить другое: грузин Джугашвили, политик, знал не родной ему русский язык несколько лучше, чем знает его некий писатель, нобелевский лауреат, то и дело бьющий себя в грудь кулаком: «Я русский! Я из перерусских русский!» Кто там еще остался из видных марксистов? Ну, конечно же, Энгельс! В попугайской карточке на него читаем нечто весьма саркастическое: «Энгельс доследовал, что не с зарождения нравственной идеи начался человек, и не с мышления – а со случайного и бессмысленного труда: обезьяна взяла в руки камень – и оттуда все пошло».

Понимал ли оратор сам, что тут говорил? Из приведенных слов видно, по крайней мере, одно: он убежден, что человек начался либо с мышления, либо с нравственной идеи, но с чего именно – пока точно не установил. Что же касается того, почему мышление или та самая «нравственная идея» стали достоянием только человека, а не озарили до сих пор, допустим, москву, лаявшую на слона, – эта проблема нашего автора не интересует.

И тем не менее, мы думаем, он в какой-то мере понимает, что говорит. Уверенности в этом нам придают слова как раз Энгельса, который в известной работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» еще в 1876 году писал о Солженицыне следующее: «Птицы являются единственными животными, которые могут научиться говорить, и птица с наиболее отвратительным голосом, попугай, говорит всего лучше. И пусть не возражают, что попугай не понимает того, что говорит. Конечно, он будет целыми часами без умолку повторять весь свой запас слов из одной лишь любви к процессу говорения и к общению с людьми. Но в пределах своего круга представлений он может научиться также и понимать то, что он говорит...

Он умеет так же правильно применять свои бранные слова, как берлинская торговка зеленью. Точно так же обстоит дело и при выклянчивании лакомств».

Да, в пределах своего круга представлений Солженицын научился понимать то, что говорит. Несомненно также, что в выклянчивании лакомств он преуспел ничуть не меньше, чем в брани.

Не ограничиваясь, так сказать, философской, так сказать, теоретической, так сказать, умственной борьбой против Маркса, Энгельса, Ленина, он еще и пытается дискредитировать их в чисто человеческом плане. Так, о Марксе в одном месте презрительно пишет: «Он от роду не брал в руки кирки, довеку не катал и тачки, уголька не добывал, лесу не валил, не знаем, как колол дрова...» Много ли Солженицын сам махал киркой да катал тачку, сколько он добыл уголька да повалил лесу, это мы в свое время еще исследуем, что же до Маркса, то действительно он не брал в руки кирку, как не брал ее и Аристотель, не катал тачку, как не катал ее и Коперник, не добывал угля, как не добывал его и Ньютон, не валил лес, как не валил его и Менделеев, может быть, даже и дрова не колол, как не колол их, может быть, и Эйнштейн. Просто у этих людей были другие способности, другое жизненное назначение, призвание, что они и доказали всей своей жизнью, всеми трудами, явившимися вкладом в мировую культуру. Конечно, это удел далеко не всякого. Как говорится, и медведь костоправ, да самоучка. В частности, вопрос о жизненном призвании Солженицына все еще остается открытым, есть и такая точка зрения, что он больше принес бы пользы человечеству в качестве не писателя, а, может быть, дрессировщика попугаев.

А о Марксе вот последняя новость. Журналист Кейт Коннели пишет 15 октября в английской газете «Гардиан», что в дни разразившегося во всем мире осенью 2008 года финансового кризиса резко повысился интерес к трудам Маркса по всей Германии, первый том «Капитала» буквально сметают с полок книжных магазинов. Продажа выросла на 300 %. «Маркс опять в моде, – сказал Йорн Штутрумффт, директор берлинского издательства, выпускающего работы Маркса и Энгельса. – Мы видим отчетливый рост спроса, и он будет еще больше в ближайшее время». Причем книги покупают, как правило, люди «из молодого академического поколения, которое пришло к пониманию того, что неолиберальные посулы счастья оказались ложью, что капитализм с его алчностью закончится саморазрушением». Даже Пиир Штайнбрюк, министр финансов Германии, заявил в журнале «Шпигель»: «Надо признать, что некоторые части марксистской теории действительно не столь плохи». А гамбургский журнал «Абендблат» пишет: «В эти дни Маркс совершает победный забег в гонке за симпатии». Да, у него есть кое-что для тех, кто соображает, а не любит потешным полком в Кремле.

Конечно, наших заскорузлых в своей антисоветчине отечества ничто не заставит засесть за «Капитал». Они наверняка помнят признание Есенина:

Сестра грызет пузатый «Капитал»...
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

И не понимают отцы: что позволено поэту, то не простительно для политика.

Первый том «Капитала» был издан в 1867 году – 140 лет тому назад. И вот – сметают с полок!

А о сочинениях Солженицына, сдается мне, даже и через 1400 лет соотечественники будут говорить:

Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал...

Благоговейный восторг Бернарда Левина, знатока Руси

Обнаружив, что познания нашего героя в области религии и философии пребывали в печальном виде, мы с невольным удивлением вспоминаем, что в детстве и в юношеские годы Солженицын, как и Достоевский, учился хорошо, был первым учеником. К тому же оба писателя всю жизнь много и жадно читали. В результате Достоевский уже в молодости стал широко образованным человеком, а в зрелую пору был поистине «с веком наравне». При этом поражала широта его внелитературных интересов.

Круг интересов Солженицына тоже очень широк. Он сам говорит об этом с подкупающей прямоотой: «Такое уж мое свойство. Я не могу обминуть ни одного важного вопроса». И действительно не может. Ни одного. Что же касается образования, культуры, то здесь, увы, картина несколько иная, чем у Достоевского. С уверенностью можно лишь сказать, что у него на всю жизнь сохранилась тяга к ним, но вот уровень... Об уровне мы уже имели некоторую возможность судить и раньше, теперь нам предстоит продолжить наблюдения.

Книги Солженицына кишмя кишат пословицами, поговорками, а также разного рода афоризмами как фольклорного, так и литературного происхождения. Он пламенно любит эти создания русского народного творчества и вековой мудрости всего человечества. На страницах, допустим, хотя бы «Архипелага» и «Теленка» то и дело мелькает: «Пошел к куме, да засел в тюрьме», «Лучше каши не доложь, да на работу не тревожь», «Мертвый без гроба не останется» и т. д. и т. п.

С жемчужинами русского фольклора в его книгах соседствуют любовно вписанные туда аналогичные речения на многих иностранных языках. Достоевский знал немецкий, французский и латынь. Солженицын тоже знает, что есть такие языки. Кроме того, он знает об английском. И вот мы встречаем у него то *homo sapiens*, то *made in*, то *pardon*, то другие подобные же яркие свидетельства ба-а-альшой культуры.

При таком изобилии знаний, разумеется, немудрено иногда кое-что и напутать, даже в простейших вещах. Так, Советский Союз по-немецки будет *die Sowjetunion*, а Солженицын, думая, что это по-немецки, пишет *Soviet Union*. Перепутал с английским. Другой раз вставил он в свой текст английскую поговорку *My home is my castle* (Мой дом – моя крепость). Похвально! Только англичане, которые настоящие, предпочитают говорить здесь не *home*, а *haus*. Еще где-то к месту ввернул немецкое выражение *nach der Heimat* (домой, на родину). Весьма интеллигентно! Но немцы, которые вполне грамотные, говорят в этом случае не *nach der*, а *in die*. Или: *nach Hause, heim*.

Тяга Александра Исаевича к плодам культуры, о коих речь шла выше, в частности, к пословицам, поговоркам, афоризмам, так сильна, что порой он не удерживается от соблазна собственноручного изготовления некоторого подобия их. Взять, допустим, такой афоризм: «Отмываться всегда трудней, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым». Это любовно сработано им для собственного практического употребления.

По воспоминаниям Н. Решетовской, в речи ее избранника в юные годы «постоянно фигурировали герои различных литературных произведений, античные боги и исторические личности». Что ж, такое пристрастие вполне понятно для поры, так сказать, первоначального накопления культурного багажа. Но у Солженицына, увы, она затянулась на всю жизнь. И сейчас по его страницам так и порхают Эпикур и Змей Горыныч, Платон и Иванушка-дурачок, Аристотель и Баба Яга, Геркулес и Урания, Талия и Полигимния, Клио и Каллиопа, Юстиниан и Христос, Солон и Ассаргадон, Будда и Иуда...

С сожалением приходится заметить, что и в этой непреодоленной любви-тяге наш герой, не выдерживая груза собственной эрудиции, почерпнутой в двух вузах, спотыкается: путает имена, не к месту их употребляет, неправильно пишет. Но, может быть, печальная судьба

постигает под пером Солженицына лишь имена легендарно-мифологические, только нерусские да слишком древние? Увы... В лондонской «Таймс» большой знаток русских проблем Бернард Левин однажды писал с благоговейным трепетом: глядя, мол, на Солженицына, «начинаешь понимать, что означало когда-то выражение «святая Русь». Каково же нам видеть в сочинениях живого носителя духа святой Руси некоторые исконно русские имена в таком, например, обличье: Вячислав, Керилл, Керюха... В «Записках из Мертвого дома» рассказывается, как на Рождество в остроге готовилась постановка загадочной пьесы «Кедрил-обжора». Писатель недоумевал: «Что такое значит Кедрил и почему Кедрил, а не Кирилл?» Думается, еще больше удивился бы Достоевский, встретив не в омском остроге, а в книге, изданной в Париже, Керилла-Керюху.

Ничуть не лучше, чем с именами людей, обстоит у Солженицына дело с географическими названиями на огромных пространствах от бывшей Восточной Пруссии, от немецкого города Вормдйт до знаменитого Халхин-Гола, изображенных им все в том же достославном «Архипелаге» как «Вормдит», «Халхингол» и «Манчжурия». А между этими, в какой-то степени экзотическими, крайними точками великое множество гораздо более простых, привычных, известных названий, которые Солженицын тоже не умеет написать вполне грамотно: Тарту, Лодейное Поле, Наро-Фоминск, Иваново-Вознесенск (теперь просто Иваново), Хакасия, поселок Железинка, Бауманский район...

Но что там маленькая Железинка! Даже всемирно известные названия столиц советских союзных республик он не может ни написать, ни употребить верно. Читаем, например: «юристы Алматы-Аты» (т. 1, с. 21). Или вот с каким ведь упрямством твердит: Кишенев (1,134), Кишенев (1,565), Кишенев (1,565), Кишенев (3,538)...

Возможно, хозяева и руководители парижского издательства ИМКА-ПРЕСС, которое так часто и обильно публикует сочинения Солженицына, сочтут непросвещенность своего любимца в области имен и названий пустячком, недостойным внимания. Здесь, мол, титаническая личность, а вы... Ну, правильно. Только, чтобы лучше понять наши чувства, чувства русских людей, пусть они мысленно представят себе такую картину: в нашей стране издана книга о Франции, и вот в этой книге названия некоторых французских городов выглядят, например, так: не Гавр, а – Мавр, не Нанси, а – Мерси, не Тулон, а – Баллон, не Дижон, а – Пижон, не Марсель, а – Карусель, не Бордо, а – Мордо, наконец, не Париж, а – Барыш и т. д. Интересно, что бы они сказали. Это во-первых. А во-вторых, если бы только дело ограничивалось именами да названиями!..

Нобелевский лауреат против инспектора райпо

Увы, так же некорректно ведет себя активист парижского издательства при употреблении в своем драгоценном «Архипелаге» множества и другого рода слов, выражений, оборотов речи. Пишет, например, «гуттаперчивые куклы», «на мелководьи», «заподозреть», «мы у них в презрении», «женщина в шелковом платьи», «рассказ об одном воскресеньи», «вещи бросаются в тут же стоящую бочку», «Маркелов стал не много, не мало председателем месткома»...

Активист демонстрирует нам такое богатство и разнообразие форм своей грамматической дремучести, что прямо хоть классифицируй их, эти формы. Как можно было уже заметить, он глух, например, к некоторым надежным окончаниям кое-каких существительных среднего рода и пишет: «в Многолюды», «в восьмистишьи», «в Поволжья», «в Заполярья»... Другая весьма устойчивая форма дремучести выражается в маниакальном стремлении удваивать согласные там, где вовсе не требуется. Это можно было заметить еще в написании имен и названий: «Кессарийский», «Тарусса», «Тартусский»... Но вот и продолжение: «нивеллировать», «баллюстрада», «асе», «карикатура», «аннальное отверстие»... Человек, так охотно и обильно украшающий тексты своих книг речениями на многих иностранных языках, уж мог бы, кажется, знать, что двойным согласным здесь просто неоткуда взяться, ибо их нет в словах-предках, коими были в данном случае французские слова *niveler*, *balustrade*, *as*, итальянское слово *caricatura*, латинское слово *anus*. Но наш герой не желает ни с чем считаться, ему мало того, что он представил в ложном свете даже анальное отверстие, он продолжает свое: «агломерат» (2,517), «муссаватист» (1,50), «воспоминания», «латанный воротник», «подписей» (2,475)...

Все это очень печально, но еще печальней, что иные слова он пишет хоть и верно, но употребляет неправильно. Так, вместо «навзничь» пишет «ничком», что совсем противоположно по смыслу. Или вот: «На полях России уже жали второй мирный урожай». Интересно было бы видеть, как это «уже жали», допустим, картошку, свеклу или капусту. Встречаем и такое: «в пути околевали дети». О детях – как о щенках или цыплятах!

Солженицын очень гордится своим эллиптическим синтаксисом, т. е. таким построением фразы, при котором те или иные слова лишь подразумеваются, но не пишутся, не произносятся. Что ж, в иных случаях, если с умом, это весьма неплохая вещь. Но вот в «Архипелаге» читаем: «Мы переписывались с ним во время войны между двумя участками фронта». Как тут ни крути, а получается, что война шла междоусобная. В другом месте нечаянно набредаем на такой стилистический розан: «Вот он, европеец: не обещал, но сделал больше, чем обещал». Пожалуйста, азиат, люби европейца, восхищайся им, лобзай его, но – как твои слова разуместь? Что значит «больше, чем обещал», если он не обещал ничего? Больше ничего – это сколько? Пусть бы объяснил нам как азиат азиатам.

Излишне много распространяться о том, как и почему любит Солженицын щегольнуть старинным словцом, простонародным оборотцем, той же пословицей. еще бы! Он же о себе говорит, что «в душе мужик». Ну, а мужики, известное дело, изъясняются языком кондовым, любят фольклор, иной раз такое словечко вывернут!.. Есть, например, крестьянское выражение «ехать на лошади (верхом) охлябь» или «охлюпкой», т. е. без седла. У Шолохова в «Поднятой целине» встречаем: «Ты поедешь охлюпкой, тут недалеко». Словечко, понятное дело, заманчиво, соблазнительно, и наш литмужик потянулся к нему, сцапал и, недолго думая, сунул в свой текст, мечтая потрафить простонародью: «Сели на лошадей охлябью». Ему, видите, «охлябь» показалось мало, недостаточно по-мужицки, он еще «лью» присобачил. Ну, и если кому потрафил, то разве что одному Бернарду Левину, знатоку святой Руси. А какую любопытную штуку проделал мужик Исаич со всем известными старинными выражениями «ухом

не вести» и «ни уха ни рыла не знать (не понимать, не разуметь)». Он их спарил, и в результате получил нечто совершенно новое: «не вести ни ухом, ни рылом». Селекционер! Мичуринец!

Не менее поучительно, чем с мужицкими словами, обстоит дело у Солженицына со словами и понятиями военного, фронтового обихода. Он уверен, например, что надо писать «военная компания»; убежден, что РККА – это среднего рода: «РККА обладало»...

В выступлении по французскому телевидению 9 марта 1976 года Солженицын между прочим сказал: «Буду честным: надо все же признавать даже теоретические ошибки». Ах, да уж куда там теоретические! – хоть бы грамматические-то признал.

Если и эти все наши претензии к языку, к грамматической осведомленности их активиста хозяева ИМКА-ПРЕСС сочтут излишними, чрезмерными, неуместными, то нам придется напомнить одну маленькую, им же, активистом, рассказанную историю.

Однажды он обнаружил, что некий ответственный товарищ вместо «ботинки» написал «батинки». Товарищ этот был ему несимпатичен, ибо начальствовал над ним, и между ними возникали какие-то трения. А на дворе стояла весна 1953 года – Солженицын только что вышел из лагеря. И вот даже радость вновь обретенной возможности ходить по земле без охраны и вольно дышать не могла смягчить его злого презрения, и он запомнит эту ошибку, чтобы через двадцать с лишним лет предать ее гласности и высмеять в своем «Архипелаге»! Но кто он был, тот ответственный товарищ, писавший «батинки» – один из руководителей Союза писателей? министр? секретарь обкома? академик? Нет, это всего-навсего инспектор Кок-Терекского райпо Джамбульской области Казахстана. Университетов, как Солженицын, он, конечно, не кончал, в Институте истории, философии и литературы, как Солженицын, не учился, Нобелевской премии не сподобился. И русский язык для него не родной, он – казах. А ошибочку свою он сделал не в фолианте, изданном многотиражно в Париже, а в ведомости по учету товаров, составленной в связи с ревизией магазина в ауле Айдарлы. Вот каков объект и каковы обстоятельства грамматического сарказма и негодования Александра Исаевича. Сей эпизод придает нашему праву особый вес и показывает, что наши претензии к знаменитому функционеру ИМКА-ПРЕСС гораздо более гуманны и правомочны, чем его собственные претензии к другим.

Атаман Платонов. Михневская область. Восточнопрусская Эльба

Силу своей тяги к высотам мировой культуры и результат оной тяги при достаточном усердии можно успешно показать во многих областях человеческих знаний, допустим, в истории, литературе, юриспруденции. Усердия Солженицыну хватает, он не обходит, кажется, ни одной из предоставленных ему возможностей. В области истории, жизнеустройства и правопорядка дореволюционной России демонстрирует свою тягу и ее результаты посредством таких, скажем, утверждений: в Новочеркасске в свое время воздвигли, мол, памятник герою Отечественной войны двенадцатого года атаману Платонову⁶⁷; царь Александр Второй был убит в 1882 году⁶⁸; все, кончавшие высшие учебные заведения, вместе с дипломом получали дворянское звание⁶⁹ и т. д. Все это чушь.

Ведя речь о советской истории, о советской жизни, Солженицын уверяет нас, например, в том, что в 1940 году мы «завоевали Карело-Финскую республику»; что избирательное право нашим гражданам предоставляется одновременно с получением паспорта, т. е. в 16 лет; что студенческие стипендии в 1929 году достигали 900 рублей в месяц и т. п. Такая же чушь.

О литературных познаниях Солженицына мы уже говорили и еще скажем кое-что в дальнейшем, а тут – лишь один пример. Наш автор обожает многозначительные цитатки, и вот, допустим, уверяя, что это Роберт Бёрнс, преподносит нам:

Мятеж не может кончиться удачей.
Когда он победит – его зовут иначе.

Все перепутал! И текст не такой, и Бёрнс никакого отношения к нему не имеет. Полная бессмыслица: «Когда он победит...». А надо – «В противном случае зовется он иначе».

Очень любит наш герой порассуждать на юридические темы. Ну, пристрастие понятное: человек сидел, изучал законы, так сказать, собственным горбом. Что же мы узнаем от него любопытного в этой области? Опять немало. Да все по каким кардинальным вопросам! Так, в поминавшемся выступлении по испанскому телевидению Солженицын негодовал: «В моей стране в течение шестидесяти лет никогда не была объявлена ни одна амнистия». Ни одна! Да советской власти еще шести месяцев не исполнилось, а она уже провела амнистию – 1 мая 1918 года. По ней из рук диктатуры пролетариата получил свободу, например, бывший военный министр царя В.А. Сухомлинов, приговоренный Временным правительством к бессрочным каторжным работам. Получил и укатил в Германию писать свои «Воспоминания». А потом-то сколько их было, и притом общих! В ознаменование победоносного окончания Гражданской войны, в честь десятилетия советской власти, в связи с победой над Германией и т. д. Иногда для демонстрации своих познаний он забегает даже в чуждые пределы иностранной юриспруденции. Например, пишет, что «5-е дополнение к конституции США» будто бы гласит: «запрещается давать показания против самого себя». Тут следует заметить следующее. Во-первых, принято говорить не «дополнения» к Конституции США, а «поправки». Во-вторых, ни о каком «запрете» в пятой поправке речи нет. Если тебе нравится давать показания против себя – пожалуйста! Действительно, как это можно запретить? Вот же, допустим, на наших глазах Солженицын дает и дает показания против своей грамотности, т. е. именно против себя

⁶⁷ «Архипелаг», т. 3, с. 558. Разумеется, не Платонову, а Платову Матвею Ивановичу. – В. Б.

⁶⁸ Это Солженицын поведал испанцам в своем выступлении по их телевидению в марте 1976 года. До сих пор считалось, что Александр II был убит народовольцем Гриневицким 1 марта 1881 года. – В. Б.

⁶⁹ «Архипелаг», т. 1, с. 52. Конечно же, и это «клюква». – В. Б.

– и никто ему этого не запрещал, не запрещает и не запретит ни в США, ни в другой стране. Нет в мире такого закона! В помянутой пятой поправке говорится совсем о другом: о том, что обвиняемый НЕ ОБЯЗАН давать показания против себя. Не обязан – с этим нельзя не согласиться, очень справедливо и гуманно. И наш герой тоже совершенно не обязан свидетельствовать против себя, но что поделаешь, если из него так и прет!

Вот он переходит от юриспруденции к географии, и тут снова дает множество показаний, к которым его никого не вынуждал. Мы уже отмечали, как своеобразно пишет он названия известнейших городов. На этом ему и остановиться бы. Но нет! Он еще, например, сообщает нам, что есть в России некая «Михневская область»⁷⁰. В наше время в цивилизованной стране обнаружить целую область, дотоле неизвестную, – да это крупнейшее географическое открытие! Но интересно бы узнать, где именно простирается она, в каких широтах-долготах? Сколько там жителей? Чем они занимаются? Читают ли сочинения Солженицына? Молчит наш первопроходец, молчит...

Трудно удержаться, чтобы не рассказать колоритнейший эпизод, связанный с рекой Эльбой. Выступая 30 июня 1975 года перед профсоюзными деятелями США, Солженицын вспоминал последние месяцы войны: «Мы думали, что вот мы дойдем до Европы, мы встретимся с американцами... Я был в тех войсках, которые прямо шли на Эльбу. еще немного – и я должен был быть на Эльбе и пожать руку вашим американским солдатам. Меня взяли незадолго до этого в тюрьму. Тогда встреча не состоялась... И я пришел сейчас сюда вместо той встречи на Эльбе (*аплодисменты*), с опозданием на тридцать лет. Для меня сегодня здесь – Эльба...»⁷¹.

Известно, что на Эльбе, в Торгау, с американцами встретились войска 1-го Украинского фронта, это произошло 25 апреля 1945 года. Действительно, Солженицына «взяли в тюрьму» незадолго, точнее говоря, за два с половиной месяца до знаменательного события. Но если по оплошности его и не взяли бы, то и тогда он никак не мог бы пожать руку американским солдатам. Дело в том, что Александр Исаевич в то время храбро командовал своей беспущечной батареей в Восточной Пруссии, это от Эльбы несколько далековато, до Торгау, поди, километров 600–700. Так что у Солженицына не имелось оснований утверждать, что он «был в тех войсках, которые прямо шли на Эльбу». На самом деле войска эти прямо шли на Вислу, где никакой встречи с американцами не было и быть не могло.

Возможно, сей пассаж ошеломит читателя сильнее, чем многое другое в рассказе о страстном стремлении нашего героя к высотам мировой культуры. Ну, действительно, как это – перепутать Вислу с Эльбой? Как это – не иметь никакого представления о том, где именно ты воюешь? Мы можем предложить этому поистине феноменальному факту лишь такое объяснение. Войска, в которых находился Солженицын, шли не на Эльбу, как уже сказано, а на... Эльбинг – это город недалеко от Вислинского залива. Да, именно на Эльбинг в числе других частей фронта была устремлена 48-я армия⁷², в которой служил наш герой. Разумеется, в наступающих войсках часто произносили: «Эльбинг! Эльбинг!...». Солженицын не мог этого не слышать, ну, и... Короче говоря, слышал Ваня звон... Вероятно, в его голове все прояснилось бы, доведись ему побывать в самом городе Эльбинге, но Солженицын там не был по той простой причине, что его «взяли» 9 февраля 1945 года, а Эльбинг взяли 10-го, т. е. лишь на другой день после того, как Красная Армия освободилась от Александра Исаевича.

⁷⁰ «Архипелаг», т. 3, с. 374.

⁷¹ Русская мысль, 17 июля 1975 г.

⁷² История Второй мировой войны. М: Воениздат, 1979, т. 10, с. 102–109, а также карта N5.

Гибрид банана с огурцом

Думается, рассказ о тяге нашего героя к вершинам мировой культуры и о результатах этой тяги можно пока прервать. Читатель, вероятно, получил достаточно ясное представление по сему вопросу и теперь может по достоинству оценить беспощадную характеристику, данную Александром Исаевичем нашему времени: «Безграмотная эпоха!»⁷³. Но здесь возникает естественный вопрос: очень странно! Почему всех этих поражающих воображение вещей, таких, как «Вячислав» и «Керилл», «Кишенев» и «Троицко-Сергиевская лавра», «преуменьшать» и «заподозреть», «карикатура» и «баллюстрада»; таких ошеломительных новаций, как «ничком» вместо «навзничь», «атаман Платонов» вместо «Платов», «Эльба» вместо «Эльбинг»; таких, достойных чеховского Василия Семи-Булатова из села Блины-Съедены открытий, как завоевание Карело-Финской республики и т. д. и т. п. – почему, черт возьми, подобных вещей не было в произведениях Солженицына, которые в свое время публиковались в нашей стране, и откуда эта прорва невежества взялась в его книгах, изданных в Париже и в других просвещенных центрах свободного Запада? Да уж не нарочно ли кто-то вредительствовал? Не агенты ли советские, проникнув, допустим, в издательство ИМКА-ПРЕСС, насыщали солженицынские тексты безграмотной белибердой с целью дискредитации великого писателя? Увы, слишком многое противоречит такому спасительному предположению. Все обстоит гораздо проще.



⁷³ «Архипелаг», т. 2, с. 495.

Письма от читателей Александру Солженицыну в редакцию «Нового мира» после публикации рассказа «Один день Ивана Денисовича». 1959 г.

«Чего-то всегда постоянно боясь – остаемся ли мы людьми?»
(Александр Солженицын)

Дело в одном из преимуществ социализма перед капитализмом: у нас в стране во всех редакциях и издательствах существовали корректорские отделы да бюро проверки, и довольно квалифицированные. Если они работают хорошо, то им удастся избавить публикуемую рукопись от нелепостей, ошибок и неточностей, коли они в ней есть. Почти все произведения Солженицына печатались у нас в журнале «Новый мир», там и корректорская, и бюро проверки – отличные! Они-то (совместно с литературными редакторами, конечно) и придавали сочинениям Солженицына благопристойный вид. А на Западе издатели скупятся на создание корректорско-проверочной службы, там рукопись издается в таком виде, в каком ее принес автор. Конечно, в этом есть свое достоинство: если у нас Солженицын издавался, получается, в изрядно приукрашенном виде, то на Западе он предстает перед читателем в своем натуральном облике, без всякого флера, и читатель может судить, вполне ли красиво выглядит Александр Исаевич совершенно голеньким. Ведь благодаря упомянутому преимуществу ему довольно долго удавалось слыть на родине вполне грамотным человеком? За одно это молиться бы надо было Солженицыну на социализм, а не хаять его.

А издательство ИМКА-ПРЕСС, в изобилии публикуя антисоветских авторов, должно бы все-таки понимать, кто есть кто. Взять, допустим, сборник статей «Из глубины», переизданный им в 1967 году после первого издания в 1921-м. Тут собраны написанные в основном в 1918 году статьи Николая Бердяева, Сергея Булгакова, Петра Струве и других зубров. Разумеется, антисоветчина махровая, но уж по крайней мере все литературно-грамотно, все внятно, никто не пишет «корова» через «ять». Вот, скажем, Петр Струве приводит строки из грамоты патриарха Гермогена – и все верно, тут нет попытки приписать свою неосведомленность другому, как мы это видели у Солженицына в отношении патриарха Тихона. Вот С. Аскольдов цитирует Тютчева: «Душа моя – элизиум теней!», и это действительно Тютчев, автор его ни с кем не путает, как Солженицын путает чьи-то стихи со стихами Бёрнса. Вот С. Булгаков приводит латинскую поговорку *natura non facit saltum* (природа не делает прыжков) и дает ей русский эквивалент: всякому овощу свое время, – и это в самом деле латинская, а не греческая поговорка, и написана правильно, и переведена эквивалентно, не то что у Солженицына, который не только путает английские слова с немецкими, но еще и пишет-то их неграмотно.

Да, господа из ИМКА-ПРЕСС, всякому овощу свое время. Была пора, когда среди антисоветчиков водились люди большой культуры, эрудиты, отменные мастера слова. Конечно, их можно было издавать и без корректоров. Но время этих чистосортных овощей прошло. А сейчас поспели такие вот фрукты-овощи, как Солженицын. Какой-то гибрид банана с огурцом. Образованец.

«Какой, однако, убийца!..»

Но вернемся опять к нашему сопоставлению, заимствованному у западных мудрецов. Мы усматривали ранее сходство между Достоевским и Солженицыным в том еще, что у обоих много разного рода претензий к отечественной литературе. Первый из них говорил, что «завел процесс» со всей литературой и вызывает всех на бой. За долгие годы критики достаточно обстоятельно выявили, и в чем состояла особенность этого «процесса», и каков был характер этого «боя». Второй, несмотря на тощие мышцы своего гносиса, не только лезет с кулаками на всю советскую литературу, но хватается за грудки и мировую. И нам теперь надлежит обрисовать кое-какие характерные черты этого идейно-теоретического дебоширства.

Походя бросив в «Архипелаге ГУЛАГ» уничижительную усмешку о самом начале советской литературы («О, барды 20-х годов!..»), наш герой перешел затем к прозе 30-х и сказал о ней, словно гвоздь в крышку гроба вколотил: «Пена, а не проза». Пена! Мыльные пузыри! Стиральный порошок «Лотос»!

Поначалу Солженицын ограничился только одним жанром, прозой, но вскоре исправил недоработку, рассмотрел всю литературу за десятки лет, и грандиозный вывод его таков: «В тридцатые, сороковые и пятидесятые годы литературы у нас не было». Не было – и шабаш!

А когда ж появилась? Ну, если скорбный перечень десятилетий обрывается пятидесятыми годами, а шестидесятые не названы, то, должно быть, именно в шестидесятые? Конечно! Он мог бы даже совершенно точно указать дату ее рождения: ноябрь 1962 года – когда напечатали его повесть «Один день Ивана Денисовича».

Для доказательства того, что наша литература до 1962 года не существовала, исследователь-новатор, как мы уже знаем, разработал сложную, богатую и весьма самобытную систему эстетических категорий и терминов, идейно-художественных определений и оценок, прилагая которые к конкретным деятелям и явлениям литературы, он доказывал их мнимость и фиктивность. Допустим, у него встречаются такие незатасканные определения, категории: «жирный», «лысый», «вислоухий»... «бездари», «плюгавцы», «плесняки»... «собака», «волк», «шакал»... и т. д.

Впрочем, словесное недержание, болтливость свойственны стилю этого писателя вообще, а не только его литературоведческим изысканиям. При этом речения самого последнего разбора он использует для характеристики едва ли не всех областей нашей жизни и лиц едва ли не всех сфер деятельности. Например, в «Теленке», говоря уже о людях, не имеющих никакого отношения к литературе, он постоянно употребляет термины и определения хорошо знакомого нам рода: «шпана», «обормоты и дармоеды», «наглецы», «бараны» и т. д. То же и в «Архипелаге ГУЛАГ»: «ослы», «змея» и так дальше по схеме, восходящей к особенно хищным и ядовитым зоологическим особям.

Он не изменяет своему этическо-стилистическому кредо даже в размышлениях о людях, которых видит впервые и ничего, абсолютно ничего о них не знает. Вот хотя бы: «Идет какой-то сияющий, радостный, разъединенный (разъевшийся? – В.Б.) гад. Кто такой – не знаю». Так и признается, что не знает человека, и все-таки – «гад»! Ему очень просто сказать о совершенно незнакомом даже и так: «Какой, однако, убийца!»⁷⁴. Больше того, Александр Исаевич не оставляет своих зоологических определений и в том случае, когда пишет о враче лефортовского изолятора, который, во-первых, опять-таки совершенно незнаком ему, а во-вторых, по собственным же словам, обследовал его «очень бережно, внимательно». Он так пишет о своем благодетеле: «Хорек... Достает, мерзавец, прибор для давления: разрешите?» И позже снова –

⁷⁴ «Теленок», с. 474.

о том же враче («Полон заботы: как я себя чувствую?») и о медсестре, давшей ему лекарство: «А, звери!...»⁷⁵

⁷⁵ «Теленок», с. 459.

Потрошитель мировой культуры

Если Солженицын именует хорьками да мерзавцами даже врача и сестру, что полны к нему заботы и дают лекарство, оказывают помощь, то надо ли удивляться той последовательности, с какой он прилагает свою эстетику к тем, кто чем-то ему не потрафил. Советская литература, очень не потрафившая нашему герою, много претерпела от него уже из-за одной только удивительной неустойчивости, переменчивости его художественных вкусов, литературных симпатий и антипатий. Как мы отмечали, этим в какой-то мере отличался и Достоевский. Но у Достоевского многие перемены его вкусов и литературных симпатий остались на страницах частных писем да дневниковых записей. Но не таков Солженицын. Он – человек действия. Разочаровавшись в каком-либо писателе или произведении, он тотчас предпринимает против них критическо-караательные санкции. Так, ему не понравились когда-то начальные главы мемуаров Эренбурга и «Повести о жизни» разлюбленного Паустовского. И вот в ноябре 1960 года, не дожидаясь окончания публикации, он шлет в редакцию «Литературной газеты» пространное письмо-статью, для стиля и духа которого весьма характерны суровые обороты вроде таких: «Не пора ли остановить эту эпидемию писательских автобиографий?!»⁷⁶. Какая энергичность слога, какая экспрессия! «Не пора ли остановить!..» Да это в одном ряду с бесмертными речениями «Народ! Расходись, не толпись!», «Гражданин, пройдемте!» и т. п.

Однако, несмотря на очевидные достоинства стиля и родниковую ясность идейной позиции, статья, подписанная «А.И. Солженицын. Учитель» не была опубликована «Литгазетой». Отвергнутый автор на этом не успокоился – так ему пекло поучительствовать в советской литературе! Он шлет копию своей статьи «Не пора ли остановить?» самому К.Г. Паустовскому. Ну, и понятное дело – жду, мол, ответа, как соловей лета. Видно, надеялся, что Константин Георгиевич ответит ему приблизительно так: «Конечно, дорогой Александр Исаевич, пора меня остановить! Давно пора! Совсем я, старый, зарвался. Спасибо, голубчик, что глаза мне на самого себя открыл!» и т. д. Но Паустовский почему-то не ответил. Вполне возможно, что принял письмо учителя Солженицына за весточку с того света от будочника Мымрецова, прославившегося в прошлом веке девизом «Тащить и не пущать!».

Между тем, и мемуары Эренбурга, и «Повесть о жизни» Паустовского продолжали печататься. Натурально, «Александр Исаевич недоумевал»⁷⁷: Учителя не послушались! Неудачная попытка внедрить в литературную жизнь небесспорные принципы неомымрецизма, как видно, только раззадорила критическую страсть Солженицына, и он бросился разоблачать «блатофильство» и другие пороки искусства всех времен и народов. «Да не вся ли мировая литература воспевала блатных?» – строго спросил нахмуренный исследователь-следователь. И вот в результате успешно проведенного следствия с пристрастием блатными признаны все «благородные разбойники» народных легенд, былин и сказок, о коих, мол, простачков веками «уверяли, что у них чуткое сердце, они грабят богатых и делятся с бедными». А на самом деле – «отвратительны эти наглые морды, эти глумные ухватки, это отребье двуногих». Блатной «наглой мордой» номер один объявлен Робин Гуд, герой английского фольклора. К «отребью двуногих» отнесены герои шиллеровских «Разбойников». Но и это не все – дальше, дальше! «Ни Гюго, ни Бальзак не миновали этой стези (А как там у Байрона?)». Байрона отличник, видно, не читал – только этим и можно объяснить, что автор «Корсара» не привлечен к ответственности, а лишь остался под подозрением. Так шаг за шагом, обшарив по пути еще кой-кого, например, Киплинга и Гумилева, постепенно добрался потрошитель мировой литературы до... До кого бы вы думали? До Пушкина! Да, и Пушкину устроил обыск, в результате которого выявил, что

⁷⁶ Решетовская Н... 165.

⁷⁷ Решетовская Н... 165.

великий поэт «в цыганах похваливал блатное начало». Ну, в самом деле, шляются эти босяки по всей Бессарабии, нигде не работают, паспортов у них нет, ночуют в шатрах изодранных, в неположенных местах палят костры, – как же не блатные!

А Земфирочку эту помните? Встретила где-то «за курганом, в пустыне» незнакомого малого, которого к тому же «преследует закон» (видно, уголовник), приводит его в табор и ставит папашу перед фактом: «Я ему подругой буду». Хороша штучка! А сам папаша? Когда его дочь разлюбила уголовника и сошлась с другим (а у нее уже ребенок!) – что он сказал? А вот:

Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.

Да это же типичная для блатного мира проповедь сексуальной свободы! И вот такое-то сочиненьице у нас полтора столетия издают, пропагандируют. еще и Рахманинов к этому руку приложил, нашел тут сюжетец для оперы.

Во всей мировой литературе после тщательнейшего шмона Солженицын обнаружил лишь одного-единственного писателя, о котором убежденно заявил:

«Только Тендряков с его умением взглянуть на мир непредвзято, впервые выразил нам блатного без восхищенного глотания слюны, показал его душевную мерзость»⁷⁸.

Блатофильство далеко не единственный грех, в котором Солженицын обвиняет всю мировую литературу, у него немало и еще претензий к ней, среди которых одна из главных – по вопросу о природе человеческого характера и его изображения. «Великая мировая литература прошлых веков, – говорит Учитель, и мы видим его ухмылку при слове «великая», – выдувает и выдувает нам образы густочерных злодеев»⁷⁹. В силу такой открытой им односторонности творчество Шекспира, Шиллера, Диккенса он находит «отчасти уже балаганным»⁸⁰. Вина здесь мировой литературы и трех помянутых классиков перед Александром Исаевичем в том, что «их злодеи отлично сознают себя злодеями и душу свою черной».

Конечно, в огромной галерее образов литературы разных веков и народов есть образы таких злодеев, которые сознают, что они злодеи и что творят зло. Но рисовать картину, будто бы только так и обстоит дело в мировой литературе, – занятие странное и бесполезное. Литература мира и созданные ею образы злодеев несколько разнообразнее и психологически богаче, чем это представляется Александру Исаевичу. Вспомним хотя бы пушкинского Сальери. Злодей? еще бы, лишает жизни друга, гениального музыканта. Но он вовсе не считает себя злодеем, не упивается страданиями жертвы, а сознает свое преступление как благо и как неизбежное закономерное действие. Сальери появляется перед нами со словами горечи на устах:

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет и выше.

Его душу терзают два чудовищных, как ему представляется, искажения правды и справедливости: на земле и на небе. Первое видится ему в сопоставлении личных судеб – своей и Моцарта. Он, Сальери, родился «с любовью к искусству», весь труд, всю жизнь посвятил

⁷⁸ «Архипелаг», т. 2, с. 416.

⁷⁹ «Архипелаг», т. 2, с.181.

⁸⁰ Там же.

музыке, и «напряженным постоянством» достиг, наконец, успеха, славы. Но Моцарту, которому так легко все дается, он завидует и считает свою зависть закономерной, справедливой:

...О небо!
Где же правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?..

Второе, еще большее искажение правды, влекущее за собой великую опасность для искусства, Сальери усматривает в сопоставлении судьбы Моцарта с судьбой всей музыки:

Что пользы, если Моцарт будет жив И новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет, Оно падет опять, как он исчезнет.

Сальери хочет исправить обе эти страшные несправедливости, он проникается сознанием не только правильности, но даже предначертанности своего замысла свыше:

Нет! Не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить – не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один...

Избран, чтоб остановить! Ну совсем как сам Солженицын чувствовал себя избранным, чтобы остановить Паустовского. И ведь, конечно же, отсылая письмо в «Литературную газету», он тоже сознавал себя благодетелем: спасал, мол, соотечественников от эпидемии писательских автобиографий. Особо Солженицын останавливается на образе Яго, уверяя, что тот «отчетливо называет свои цели и побуждения – черными, рожденными ненавистью». Сказать это о Яго мог лишь человек, знающий о знаменитой трагедии Шекспира немногим больше, чем Шекспир знал об «Архипелаге ГУЛАГ», ибо дело обстоит совсем не так: нигде, ни разу на всем протяжении трагедии Яго не называет свои побуждения и цели черными, а, наоборот, неоднократно обосновывает их справедливость и закономерность. Как и у Сальери, у Яго два основных довода в оправдание своих действий. Первый довод у него даже похож на довод Сальери: и там и здесь герои считают себя совершенно несправедливо обойденными дарами и благами, которые достались другим, никак их не заслуживающим. Для Сальери это «священный дар» творчества, «бессмертный гений», ни за что полученный Моцартом, а для Яго – лейтенантство, доставшееся Кассию, о котором он говорит:

Бабий хвост,
Ни разу не водивший войск в атаку.
Он знает строй не лучше старых дев.
Но выбран он. Я на глазах Отелло
Спасал Родос и Кипр и воевал
В языческих и христианских странах.
Но выбран он. Он мавра лейтенант,
А я поручиком их мавританства.

Казалось бы, несопоставимые вещи – творческий гений и лейтенантское звание. Да, но тут есть несопоставимость и другого рода, как бы уравнивающая первую: гений – это дар неба, против выбора которого вроде бы бессмысленно и протестовать, а лейтенантское звание – «дар» земного человека, генерала Отелло. Вот почему несправедливость неба рождает у Сальери лишь зависть, а к решению умертвить Моцарта он приходит, как уже говорилось, совсем по другой причине – из-за опасения за судьбу музыки. У Яго же несправедливость к нему Отелло вызывает гораздо более сильное и действенное чувство – ненависть. Второй очень веский довод Яго, оправдывающий в его глазах и ненависть к Отелло, и все действия против него, – это ревность. Он говорит наедине с самим собой:

Я ненавижу мавра. Сообщают,
Что будто б лазил он к моей жене.
Едва ли это так, но предположим —
Раз подозрение есть, то, значит, так.

Точно, как Солженицын: «Крыс нет, но чудится, что ими пахнет...» Это в первом акте. Во втором он снова возвращается к терзающей его мысли, и тут у него уже не остается почти никакого сомнения:

...Я готов на все,
Чтоб насолить Отелло. Допущенье,
Что дьявол обнимал мою жену,
Мне внутренности адом разъедает.
Пусть за жену отдаст он долг женой...

Жена за жену – Яго совершенно убежден, что он лишь выполняет справедливый расчет. Более того, у него получается, что он расквитался только за одну несправедливость, за одно тяжкое оскорбление из двух. Это ли не дает сознание правоты своих действий? Такое сознание, повторяем, разумеется, было и у Александра Исаевича, когда он «катил бочку» на Паустовского и Эренбурга. И тем более странно, что не разглядел он этого же в душе Яго. Вероятно, причина подслеповатости тут в том, что у него, у Солженицына, сознание правоты вырастало в данном случае скорее на сальерианской основе, чем на ягианской, то есть главным образом не на факте личной обиды, обделенности, не из ревности, а из стремления спасти соотечественников от опасной эпидемии, иначе говоря, из заботы об общем благе. Приписывая мировой литературе неукоснительную приверженность к образам лишь таких злодеев, что ясно сознают свое злодейство да упиваются страданиями жертвы, и крича на все четыре стороны света по поводу таких злодеев: «Нет, так не бывает! Чтобы делать зло, человек должен прежде всего осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие»⁸¹, оратор на наших глазах дважды садится в малогабаритную акваторию, называемую в просторечье лужей.

Во-первых, как мы видели на примерах Сальери и Яго, как это можно было бы показать и на других образах Шекспира и Пушкина, а равно и многих собратьев их по Олимпу, мировой литературе такая односторонность чужда. Во-вторых, коли «так не бывает», то есть ежели нет злодеев, которые отчетливо сознают свое злодейство да наслаждаются мучениями жертвы, то откуда же взялся, чтоб далеко не ходить за примерами, допустим, живущий в одной стране с оратором богатый предприниматель Джон Уэйн Гэси, о котором писали газеты в январе 1979 года? Он заманивал на свою виллу в Чикаго детей и зверски умерщвлял их. Его жертвами,

⁸¹ «Архипелаг», т. 1, с. 181.

как он признался сам, оказались 32 ребенка⁸² Если, наконец, «так не бывает», то зачем же сам писатель Солженицын создает образы именно таких злодеев – сознающих свое злодейство и упивающихся страданиями жертвы. Один из них у него говорит: «Люблю сильных противников! Приятно переламывать им хребет!»⁸³. Другой смакует: «А если такой сильный, что никак не сдастся?.. Ты взбешен? Не сдерживай бешенства! Это огромное удовольствие, это полет! – распустить свое бешенство, не зная ему преград! Раззудись, плечо!.. После бешенства чувствуешь себя настоящим мужчиной!»⁸⁴. Тут уж одно из двух: или перестань всесветно шуметь «Нет, так не бывает!», или признайся, что персонажи твои – выдумка.

⁸² Известия, 13 января 1979 г.

⁸³ «Архипелаг», т. 1, с. 159.

⁸⁴ Там же.

Что бы сделал Толстой, попадись ему Солженицын?

Воссоздавая картину того, как Солженицын подпрыгивает и сучит кулаками перед лицом всей мировой литературы, нельзя, конечно, умолчать и о том, как он замахивается на самого Толстого. Вот объявляет, например, что «Толстой зубоскалил» по поводу роли личности в истории, по поводу требования политической свободы и т. д. «Конечно, – корит Учитель эгоиста, – не нужна свобода тому, у кого она уже есть... Ясная Поляна в то время была открытым клубом мысли». Словом, личная свобода да еще «открытый клуб» у Толстого были, а до прочего люда ему никакого дела.

«Не нужна свобода тому, у кого она есть»?

Сказал бы это Солженицын поручику Толстому 31 октября 1852 года, когда в станице Старогладковской, где квартировала его часть, молодой писатель раздобыл у кого-то сентябрьскую книжку «Современника» и прочитал свое первое произведение – повесть «Детство». Казалось бы, какое дело цензуре до этой повести, чем цензор может поживиться в мире детских открытий и чувств? Однако нашел чем. Были вымараны или сокращены не только некоторые абзацы, эпизоды, например, предсмертное письмо матери, но и сюжетные линии, как история любви Натальи Савишны.

Только недели через полторы Толстой узнал от Некрасова, чьих это рук дело. Так что, пожалуй, интереснее, если Солженицын сказал бы Толстому о его, Толстого, свободе не 31 октября, а в тот ноябрьский день, когда поручик узнал истинного виновника бесчинства. Зная нрав Льва Николаевича в молодые годы и учитывая, что то была расправа над его любимым первенцем, не пришлось бы ожидать сколько-нибудь деликатного исхода сего гипотетического собеседования.

Такая же история произошла и со вторым произведением Толстого, с рассказом «Набег». Некрасов писал ему: «Вероятно, Вы недовольны появлением Вашего рассказа в печати... Пожалуйста, не падайте духом от этих неприятностей, общих всем нашим даровитым авторам». Редактор, конечно, хотел утешить молодого автора, но сам Толстой смотрел на дело гораздо более мрачно, в одном из писем июня 1855 года он писал: «Набег» так и пропал от цензуры. Все, что было хорошего, все выкинуто или изуродовано». И дальше великий писатель продолжал в избытке вкушать плоды такой вот «свободы». В октябрьской книжке «Современника» за 1854 год печатается его третье произведение – «Отрочество». 2 ноября Некрасов пишет ему:

«Милостивый государь Лев Николаевич! Видно, такова судьба Ваша, что и «Отрочество» в печати подверглось значительным и обидным урезываниям».

Цензура целиком выбросила главы «Маша» и «Девичья», в других главах были сделаны большие купюры. Но вот закончена и представлена в «Современник» последняя часть трилогии – «Юность». По поводу ее Толстой был вынужден объясняться с членом петербургского духовно-цензурного комитета архимандритом Иоанном Соколовым. 18 декабря 1856 года он записывает в дневнике: «Поехал к отцу Иоанну, стерва». Вот бы по дороге к отцу Иоанну повстречать ему Солженицына с той укоризненной фразочкой на устах: «Не нужна свобода тому, у кого она уже есть»! Стервой-то молодой граф едва ли бы тут ограничился, как бы не прибег к рукоприкладству, как бы дело не кончилось для Александра Исаевича телесными повреждениями, членовредительством.

Ничего неожиданного в таком исходе не было бы, потому что чувства Толстого, вызванные цензурным варварством, клокотали в нем с необычайной силой. еще бы! Ведь это были его первые шаги на литературном пути, первые и горячо любимые произведения.

И в ответ на цензурные издевательства великий писатель только и мог, что отвести душу в письме или в дневнике. У Александра-то Исаевича возможности куда вольготней. Вот посчи-

тал он, что на Западе плохо перевели «Один день Ивана Денисовича», тоже первенца, – и, ах, как же он взвился! Всех, кого почел виноватым, – поносил, проклинал, предавал анафеме. Да не в дневнике, не в частном письме, а в изданной большим тиражом книге, в том самом «Теленке». Переводчикам Бургу и Файферу бросает в лицо: проходимцы! На переводчика Р. Паркера топает ногами: прихлебатель! халтурщик! Издателю Фляйснеру лепит в глаза: лгун! На всех вместе визжит: «Шакалы, испоганившие мне «Ивана Денисовича»!» Не берусь судить, кто испоганил и что испоганил, но как не удивиться дикому взрыву негодования по поводу зарубежных изданий! Ведь на родном-то языке книга вышла в таком виде, который вполне удовлетворял автора, и несколькими изданиями, в том числе – в «Роман-газете» тиражом почти в три миллиона экземпляров. Александр Кондратович попытался в одном месте всего лишь изменить порядок слов, но даже это Солженицын решительно пресек, о чем самодовольно потом вспоминал. А тираж «Современника» с первыми повестями Толстого не достигал и пяти тысяч. Какой содержательный материал для размышления о свободе: миллионы экземпляров книги, изданной так, что автор не может на нее нарадоваться, и четыре-пять тысяч экземпляров книги, опубликованной столь варварски, что автор стыдится ее! И нельзя не добавить, что первая книга через несколько лет была почти совсем забыта, а вторую по прошествии и ста лет и еще четверти века все читают и перечитывают новые поколения.

Слова Некрасова о цензурной «судьбе» Толстого оказались пророческими: цензура преследовала его всю жизнь. В 1856 году в связи с очередными трудностями, вставшими на пути «Севастопольских рассказов», 28-летний писатель, имея на то веские основания, делает такую запись в дневнике: «Я, кажется, сильно на примете у синих (т. е. у жандармов. – В.Б.). За свои статьи». И он не ошибся. Действительно, и за ним и за его произведениями была учреждена слежка.

Когда в 1861 году было объявлено об отмене крепостного права, Толстой принял должность мирового посредника в своем родном Крапивенском уезде и старался отстаивать интересы крестьян при проведении реформы, мешал некоторым помещикам обманывать их при выделении земельных наделов. Такая деятельность писателя имела результатом многочисленные доносы на него тульскому губернатору и министру внутренних дел.

Толстой открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, а в 1862 году стал издавать педагогический журнал. Властям все это показалось крайне подозрительным, и летом того же года в Ясную («открытый клуб мысли»!) внезапно явились жандармы с одной-единственной, но весьма оригинальной и энергической мыслью на челе: произвести в «клубе» тщательный обыск. Оппонентов у них не оказалось: хозяин был в отъезде. Искали тайную типографию и возмутительные сочинения. Толстой был так возмущен беспардонным вторжением синих мыслителей, что хотел было даже уехать из России. И опять невольно приходит на ум: попал бы тогда ему под руку Солженицын со своей декламацией об «открытом клубе» да о его, Толстого, свободе, – и, глядишь, одним нобелевским лауреатом в XX веке было бы меньше. А пока и школу и журнал пришлось закрыть.

Между тем слежка за Толстым и притеснение его продолжают. В 80-е годы дело доходит до того, что большинство произведений уже всемирно знаменитого писателя или печатаются с огромными бесцеремонными выбросками, или вовсе не печатаются. В эту пору такие достославные издания, как «Московские ведомости», «Московские церковные ведомости», и некоторые другие прямо призывали к расправе над Толстым, к запрету и уничтожению его произведений. Ну, словом, твердили то самое, солженицынское: «Не пора ли остановить?!»

В марте 1899 года в «Ниве» начал печататься роман «Воскресение». Жажда властей «остановить» и «не пущать» была огромна. Роман, однако же, появился и в журнале, и отдельной книгой. Но в каком виде! Из 129 глав лишь 25 не были искорежены цензурой. Дочь писателя Мария Львовна в письме к Н.С. Толстому, написанном по поручению отца, просила не

судить его строго за «Воскресение»: «Оно так изуродовано цензурой, что некоторые места совсем потеряли смысл».

Со многими цензурными искажениями роман так и пошел гулять по свету: в 1899 году он издается на английском, немецком, французском, сербско-хорватском, словацком, в 1900-м – на шведском, финском, болгарском, венгерском, голландском, итальянском, норвежском и польском, немного позже – на испанском, чешском, японском, арабском, турецком и других языках. Вот так-то обстоит дело со свободой Льва Толстого как писателя. Но и это еще не все.

Размышления властей предрежащих, как светских, так и духовных, о желательности расправы над Толстым вовсе не были пустыми мечтаниями. Тут выдвигались вполне конкретные и реальные предложения. Одни говорили, что хорошо бы упрятать старого смутьяна в Сибирь. Другие, опасаясь, что из Сибири, чего доброго, почитатели устроят побег, кивали на Петропавловскую крепость: надежнее – и стены повыше, и догляд попроще. Третьи, соглашаясь, что Сибирь слишком далеко, уследить трудно, и считая одновременно, что Петропавловка, наоборот, уж слишком близко, что опасно держать в столице такого возмутителя, предлагали компромиссное решение: заточить старца в один из суздальских монастырей – и не слишком далеко, и не слишком близко. А какие там уютные да надежные кельйки есть! Но тут подают голос четвертые, они решительно заявляют, что все проекты чрезмерно прямолинейны и грубы: нельзя же не считаться с мировой известностью Толстого, с его великим авторитетом. Они выдвигают план гораздо более надежный и тонкий: объявить бунтаря сумасшедшим и упрятать в желтый дом. Это нетрудно будет обосновать: писатель стар, всю жизнь много работал, вот и переутомился, вот и не выдержал ослабший организм, вот и свихнулся. Все это можно преподнести даже сочувственно: как трагедию великого ума, как преждевременный закат гения.

Неплохо, неплохо, говорят пятые. Но есть вариантец и получше, и еще понадежнее. Старик, как известно, любит охоту и дальние прогулки то на коне, то пешком, и чаще всего в одиночестве. Так чего же проще: изучить его маршрутики, а потом спрятать надежного человечка за придорожным кустиком с ружьишком, и – бах! бах! – несчастный случай на охоте. Тут уж и мировая общественность ничего сказать не сможет. А коли и скажет, – увы, поздно.



Обложка философско-религиозного трактата Льва Толстого «В чем моя вера?». 1911 г.

*«Ужасно сказать (но мне иногда кажется): не будь вовсе учения Христа с церковным учением, выросшем на нем, то те, которые теперь называются христианами, были бы гораздо ближе к учению Христа, то есть к разумному учению о благе жизни, чем они теперь»
(Лев Толстой «В чем моя вера?»)»*

Приверженцы каждого из этих планов были людьми убежденными и энергичными. Каждый настаивал на своем. Вполне возможно, что только из-за обилия проектов и взаимной неуступчивости их авторов ни один проект в конце концов, слава богу, так и не был осуществлен. Впрочем, еще летом 1880 года, как раз в дни пушкинских торжеств, был пущен слух о сумасшествии Толстого. Но, кажется, больше всех не терпелось с выполнением своего замысла сторонникам последнего плана. Не об этом ли свидетельствует запись в дневнике, сделанная Толстым 1 декабря 1897 года: «Получил анонимное письмо с угрозой убийства, если к 1898 году не исправлюсь. Дается срок только до 1898 года. И жутко и хорошо»? Это был не единственный случай. Не прошло и месяца, например, а 29 декабря 1897 года Толстой опять записывает: «Получены угрожающие убийством письма...» Вот какие ученые трактаты приходили по почте в Открытый Клуб Мысли.

Могут, пожалуй, сказать: при серьезном намерении убить кто же извещает об этом заранее? Ну, во-первых, в иных случаях извещают. А во-вторых, убить человека, да еще такого известного, дело, конечно, хлопотное и опасное, – так почему же не попробовать прежде добиться своего угрозой?

Не решась осуществить ни один из пяти своих планов, мракобесы отважились на шестой: отлучили Толстого от церкви. Закоперщиком этого достославного деяния был обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев, тот самый, что, по слову Блока, «над Россией простер совиные крыла». Есть основания полагать, что Александр Исаевич, сам не исключавший мысли о своей полезности Лаврентию Павловичу, недурно чувствовал бы себя под совиным крылышком Константина Петровича. А уж в данном-то вопросе – об отлучении – наверняка был бы с ним заодно. Как же! Ведь одной из главных причин отлучения Толстого была критика им церкви, а Солженицын не только с сочувствием, но с восторгом относится к критике этой критики. Его знакомцы Борис Гаммеров и Георгий Ингал высмеивали писателя за его критику – и Солженицын восхищается этими людьми⁸⁵, хотя за версту видно, что у них весьма смутное представление и о религии, и о Толстом.

А тот, между прочим, в 1891, 1892, 1893 годах, когда ему уже все-таки далеко перевалило за шестьдесят, и позже этого, в 1898-м, когда исполнилось семьдесят, принимал самое деятельное участие и в таком совсем не литературном деле, как помощь крестьянам Тульской, Рязанской и Орловской губерний, пораженных неурожаем и голодом. И при этом не ограничивался статьями да воззваниями о борьбе с бедствием, призывами к пожертвованиям. Со своими помощниками старый писатель организовал более двухсот бесплатных столовых для голодающих. Кстати говоря, «штаб-квартира» Толстого, из которой он руководил той благородной работой, одно время располагался в рязанской деревеньке Бегичевка. Это от Рязани, кажется, поближе, чем Куликово-то поле. И невольно приходит на ум: случись голод в наше время, допустим, в 60-х годах, оседлал бы Солженицын свой «велик», как сам он, не желая отставать от молодежи, называет вело-машину, стал бы поспешно крутить педали, чтобы явиться побыстрее в ту Бегичевку с энергичной помощью? А ведь был случай – в его воображении однажды вставало некое подобие знаменитой Бегичевки...

На последних страницах «Архипелага», написанных в 1967 году, Солженицын утверждал, что в лагерях и тюрьмах не только когда-то, но и «сейчас, сегодня», т. е. в конце шестидесятых годов, «наших оступившихся соотечественников исправляют голодом! Им снится – хлеб!» Казалось бы, вот они – голодающие наших дней, которым надо помочь, которым в особенности обязан помочь тот, кто сам был заключенным. И вроде мы видим такой порыв со стороны автора: он крутит педали в Министерство охраны общественного порядка (было такое). Его принимает сам министр. Начинается беседа. «Я ему говорю минут сорок, или час, что-то очень долго», – пишет Солженицын. Ответы министра, надо думать, тоже занимают немало

⁸⁵ «Архипелаг», т. 1, с. 695.

времени. Словом, беседа идет весьма обстоятельная. Кое в чем собеседники сходятся, а на некоторые вещи их точки зрения различны. В частности, ходатай уверен, что заключенные голодают, а министр говорит, что этого нет. Вопрос крайне серьезный, расхождение первостепенной важности. Как можно его разрешить? Очевидно, для этого есть только один вполне надежный способ: убедиться собственными глазами. Именно этот способ министр и предлагает. Он говорит: я по долгу службы бываю в лагерях и знаю о положении дел в них по собственным наблюдениям, а вы располагаете только слухами или сведениями из третьих рук, – так не угодно ли поехать туда и во всем лично убедиться на месте? И называет на выбор два лагеря. Какая удача! Сам министр поднимает шлагбаум! Надо немедленно соглашаться – ведь там голодающие! Но Солженицын настороже, он соображает: «Уж из того, что с готовностью он эти два назвал – ясно, что потемкинские устройства». Что ж, не будем строго судить его за такую недоверчивость, ибо потемкинские деревни в различных сферах жизни не столь уж невероятная вещь. Да вот свежайший пример. Надежда Баженова, проработавшая на знаменитом Ижевском машиностроительном заводе 18 лет, рассказывает, что в Советское время завод входил в число десяти самых крупных предприятий страны, на нем работало более 60 тысяч человек. Целый город! А сейчас – около 6 тысяч. И вот, говорит, видимо, исходя из советских архивных представлений о заводе, в феврале 2008 года его почтил посещением будущий президент Медведев. И что же? «Ему показали основное производство, где собирают автоматы «калашниковы». Это была чистейшей воды показуха: набрали работников заводоуправления, переодели их в рабочие спецовки и всем велели говорить, что средняя зарплата рабочего 16 тысяч. А на самом деле она 5–6 тысяч».

И вот, став президентом, Медведев, основываясь на таких потемкинских впечатлениях, стал твердить о стабильности, прогрессе, улучшении жизни и неизвестно откуда взявшейся коррупции.

Но у Солженицына-то была полная возможность избежать лапши, навешанной на уши Медведеву. Можно было ожидать, что он скажет: «Не хочу ехать в эти лагеря, разрешите мне съездить в другие». И назовет два, три, четыре других – ведь он так все эти лагеря знает! Посмотрим, что ответит министр. Если откажет, то будет по крайней мере уличен в неискренности, в недостойной игре. Ну, Александр Исаевич – вот она, твоя Бегичевка, вперед – там ждут голодающие! Вперед!.. Однако происходит нечто весьма странное: он, всесветно объявивший себя их полномочным представителем, их голосом и защитником, радетелем и сострадателем, вдруг спокойно говорит: «Я отказываюсь». То есть отказывается полностью, совершенно: и в предложенные лагеря не хочет ехать, и встречных вариантов никаких не выдвигает. Да почему, черт возьми? Ты же уверен, что люди там умирают с голода! Объяснение у него такое: «Я жалкий каторжник... Человек, не занимающий никакого поста... Кем я поеду? Министерским контролером? Да я тогда и глаз на эков не подниму... Я отказываюсь». Он даже не пытается уличить министра в потемкинщине!

Лев-то Толстой не спрашивал, кем я поеду, а садился в тарантас или даже на дрожки и ехал в нищую Бегичевку. Правда, некий пост он действительно занимал – священный пост русского писателя, народного заступника. Но ведь Солженицын и тогда уверял, и теперь уверяет, что это и его пост. Во всяком случае, в те дни его имя было едва ли не во всех газетах и журналах, едва ли не у всех на устах, по вниманию и интересу к нему он в те дни стоял, бесспорно, на едва ли не первом месте в нашей литературе, с ним беседовали министры, секретари Союза писателей и даже ЦК партии, его выдвинули на Ленинскую премию... Да, многие, очень многие считали его тогда твердо стоящим на том благородном посту, а сам он, как уже сказано, неутомимо трубил об этом во всеуслышание, но вот потребовалось предпринять не литературную акцию, за которую платят гонорары и возможны премии, куда-то поехать, бескорыстно потратить время и силы, поспорить, похлопотать, побегать – и он уже только «жалкий каторжник», он всего лишь велосипедист! И, не желая глянуть в глаза голодающим, чьи образы

так мучительно терзают его душу, он поворачивает руль от своей Бегичевки и что есть мочи жмет на педали от нее. Вот до чего доходит у Солженицына скупость на душевные затраты, на сочувствие, на доброту.

Теневая сборная СССР по прозе

Но оставим Толстого и Пушкина, оставим великие вершины мировой литературы, оставим далекое прошлое. Вернемся к дням нынешним или совсем недавним.

Наскакивая со стиснутыми кулачками на советскую литературу, понося как только хватает слов чуть ли не целую сотню писательских имен – от Абалкина, Булгакова и Вознесенского до Шкловского, Эренбурга и Ясенского, наш герой для нескольких писателей все же делает исключение.

В интервью корреспонденту Би-би-си, переданном в эфир 13 февраля 1979 года, в пятую годовщину его благодетельного выдворения из СССР, Александр Исаевич говорил, что мог бы назвать «пять, нет, шесть» писателей, которых выделяет среди всех остальных. Кто же они? Увы, он назвать их не хочет, он говорит: «Я не имею права». Вот даже как! Это почему же? Отвечает вполне серьезно: «Чтоб им не повредить. Начнут к авторам придирааться, что мол, недаром Солженицын их похвалил», и т. д. Словом, он вынужден молчать за океаном из желания оградить талантливых людей от кошмарных последствий. Как благородно! Как предусмотрительно! Кто-то из слабонервных уже и прослезился...

Но – ах, до чего память-то ветшает у иных мыслителей на седьмом десятке! – неужто Учитель забыл, что еще четыре года назад в своем «Теленке», то есть печатно, в книге, а не в радиоинтервью, которое проворковало – «гав! гав! гав!» – и нет его, к делу не пришьешь, – еще тогда, еще там на 14-й странице он одобрительно отозвался о семи, нет, даже о восьми писателях? И притом не только похлопал по плечу, назвав их «живыми», но и повеличал всех по именам-фамилиям. А под конец книги, на странице 592, пошел еще дальше. Заявив: «Вот оно, ядро современной русской прозы», к прежним именам прибавил новые и в итоге перечислил (строго по алфавиту – вдруг осерчает кто!) уже 14 писателей-прозаиков. Получилась как бы «сборная СССР по прозе»: 11 человек – основной состав, 3 – запасные. И только номера на спины не навесил, а фамилию каждого вывел четко. Как же так? Почему теперь Солженицын никого из пяти-шести не называет, а те – гораздо большим числом – названы, то бишь бестрепетно брошены им в свирепые когти властей? Может, тогда он еще не знал губительной силы своей похвалы, и вот только через четыре года на горькой судьбе несчастных четырнадцати все понял, прозрел?

Разгадка тут довольно незатейлива. Ничего он, конечно, не забыл, и прозревать ему тут нечего было. Он прекрасно понимал и понимает, что его похвалы никому абсолютно ничем не грозили ни в 1975-м, ни в 1979 годах, как не грозят и ныне. Правда, Г. Владимов, В. Максимов и В. Войнович, зачисленные в сборную, вероятно, в качестве трех запасных⁸⁶), вскоре оказались вне Союза писателей, а потом даже и вне отеческих пределов, но у Солженицына нет никаких оснований принимать это на свой счет и терзаться муками совести: все, что эти трое ныне имеют, они честно заработали своими собственными неусыпными стараниями.

Что же касается остальных писателей из тех четырнадцати, то у них⁸⁷ благополучно выходят многотысячными тиражами новые книги, издаются двухтомники и трехтомники, а у кого и собрание сочинений, они избираются в руководящие органы Союза писателей, писательских партийных организаций, ездят в длительные заграничные командировки, получают разные литературные премии вплоть до Государственных и Ленинской и т. п. – словом, похвалы из-за океана ни печального и никакого другого последствия для них не имели. Все это Солже-

⁸⁶ На эту мысль наводит то место в книге Н. Решетовской, где она пишет (с. 166), что Солженицын из-за отсутствия интереса не смог дочитать до конца роман Г. Владимирова «Три минуты молчания», подаренный ему автором. – В. Б.

⁸⁷ Мы не называем их имена лишь потому, что есть основание сомневаться, насколько им приятно числиться в «сборной», составленной тренером Солженицыным. – В. Б.

нищину, конечно же, известно, ибо это известно всем, кто интересуется литературой. И очень наивным покажется нам человек, который все-таки спросил бы: «Так зачем же ему умолчания, намеки – вся эта копеечная таинственность?» Как зачем! Ведь то-то заманчиво, то-то сладостно вообразить и внушить другим, будто тебя так боятся, так опасаются, считают до того страшным, что стоит тебе хоть раз кого-то похлопать по плечу, как этого человека – не единомышленник ли?! – тотчас хватают и волокут на эшафот. Так что солженицынская похвала с умолчанием – это похвала прежде всего себе, а не кому другому.

Не вынес даже Абрам Терц...

Есть у помянутых похвал и другие странности. Так, очень странно похвалил мэтр тех, не названных по именам, «пять, нет, шесть» писателей. Уровень их творчества он характеризует следующим образом: «К такому уровню стремились русские классики, но не достигли никогда: ни Тургенев, ни Некрасов, ни Даже Толстой». Иначе говоря, помянутые «пять, нет, шесть» превзошли классиков. Как это им удалось? Учитель готов разъяснить: «Потому что они (классики) не были крестьянами. Впервые крестьяне пишут о себе самих».

Трудно было поверить своим ушам, но факт оставался фактом: заморский теоретик возрождал старую-престарую, времен призыва ударников в литературу, концепцию, согласно которой о рабочих лучше всего может (и должен) написать рабочий, о крестьянах – только крестьянин, о бухгалтерах – бухгалтер. Адепты сей ветхозаветной концепции пренебрегали тем, например, непостижимым для них фактом, что Толстой, не будучи крестьянином, оказался, однако же, «настоящим мужиком» в нашей литературе; игнорировали они и то, как проникновенно и правдиво поведал Лев Николаевич о жизни мерина Холстомера, – а ведь, по их понятиям, никто не может писать о меринах лучше, чем сами мерины.

При виде попытки восстановления столь ретроградской концепции не утерпел даже бывший советский критик Андрей Синявский. Ну, тот самый, что когда-то в нашей печати с пеной у рта призывал лелеять и холить советскую литературу, а в западной – с еще более обильной пеной у рта, только под именем Абрама Терца, проклинал все советское. Правда, заботу о нашей литературе он выражал уж таким дурным языком литературного глухаря, что однажды мы вынуждены были к нему и его соавтору А. Меншутину, с коим он сочинил очередную статью о молодых поэтах, адресоваться с газетной страницы со стихами Маяковского:

Вас,
прилипших к стенам,
к обоям,
милые,
что вас
со словом свело?⁸⁸

Было это давненько. С тех пор Синявский-Терц успешно отлепился от советских стен и прилепился к французским. Теперь он в Париже, ведет там тихую жизнь прилипалы⁸⁹. Так вот, даже такое-то существо не выдержало, вылезло из-под обоев и пожелало возразить Учителю. 6 апреля 1979 года Би-би-си предоставила ему для этого возможность. Имея в виду попытку возрождения помянутой теории, Андрей-Абрам Синявский-Терц сказал: «Солженицын преодолел марксистскую идеологию, но у него сохранился советский образ мышления». Вероятно, Александра Исаевича порадовало первое утверждение и сильно уязвило второе: это у него-то, мохнатого мамонта антисоветизма, советский образ мышления! Но мы можем его успокоить и одновременно должны разочаровать Абрама Синявского: во-первых, Солженицын марксистскую идеологию не преодолевал и преодолевать не мог по причине уже известного нам полного незнакомства с предметом преодоления; во-вторых, теория, согласно которой о меринах должны писать мерины, так же далека от советского образа мышления, как мерин от Меринга.

⁸⁸ Литература и жизнь, 26 октября 1959 г.

⁸⁹ Впрочем, пишет книги. Издал, например, «Прогулки с Пушкиным» (Париж, 1975). В «Новом журнале» (Нью-Йорк) появилась на эту книгу рецензия, сдержанно озаглавленная «Прогулки хама с Пушкиным». Добавлять к этому что-либо, пожалуй, было бы излишним. – В. Б.

Слезы в Севастополе и плач в Рождестве-на-Истье

Есть у Солженицына еще посмертные похвалы двум-трем писателям. Точнее говоря, это выражение досады, горечи по поводу их смерти, то есть как бы косвенная похвала им. Вот умерла Анна Ахматова. При известии об этом Александра Исаевича охватило очень сильное чувство: «Так и умерла, ничего не прочтя!» Ничего из его сочинений. Твардовского энергично-плодовитый автор продолжал атаковать своими произведениями даже тогда, когда поэт был уже тяжело болен, потерял речь, медленно умирал: он все совал и совал ему в обессиленные руки свои увесистые рукописи, на этот раз – роман «Август четырнадцатого», и все приговаривал, приговаривал: «Теперь ему хоть перед смертью бы его прочитать». И об «Архипелаге» то же: «Это нужно ему было – как опора железная».

Понять это трудно: в обоих случаях Солженицын не скорбел об утрате больших художников, а досадовал на то, что стало меньше двумя возможными его читателями. И на свой манер жалел их, конечно, при этом: как же, мол, в той жизни они обойдутся без знакомства с его трудами!

Толстой писал Николаю Страхову о смерти Достоевского: «Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним; и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек... Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг за обедом – я обедал один, опоздал – читаю: умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал, и теперь плачу».

Сказано как и у Солженицына – «опора»... Какое точное совпадение в слове и какое глубокое различие в смысле! Толстой не знал Достоевского, не встречался с ним, ничем в жизни не был ему обязан, но вот он умер, и Толстой растерян, смятен: опора отскочила! И плачет, плачет...

Солженицын близко знал Твардовского, обязан ему и первой публикацией, и многим-многим другим, но вот он умер, и наш сочинитель ничуть не обескуражен, не чувствует, что отскочила опора, а наоборот, ощущает, будто сам мог быть железной опорой для покойного, и во всеуслышание говорит об этом, и в глазах, разумеется, ни слезинки.

А у Толстого бывали в жизни и еще случаи, когда он не мог сдержат слез. Так, за двадцать пять лет до смерти Достоевского 4 сентября 1855 года молодой поручик-артиллерист писал своей родственнице Т.А. Ергольской о падении Севастополя, одним из защитников которого на знаменитом Четвертом бастионе он был: «Я плакал, когда увидел город объятый пламенем и французские знамена на наших бастионах». Ну, а плакал ли Солженицын хоть когда-нибудь, хоть над какой-нибудь утратой? Да, был случай, им самим зафиксированный. Когда они с Решетовской жили в Рязани, у них появилась дача в деревне Рождество-на-Истье. Александр Исаевич был в восторге от этого приобретения: «Первый в жизни свой клочок земли, сто метров своего ручья...» Солженицын подолгу живет на даче, сочиняет, ведет наблюдения за природой.

Писание и блаженные наблюдения за природой продолжались на даче и после того, как с Решетовской он разошелся. Но по прошествии времени, когда удрученная женщина пришла в себя от неожиданного удара, вдруг выяснилось, что клочок земли-то с дачей не «свой», как считал Солженицын, а – ее, ибо приобреталось это в ту пору, когда доцентский заработок жены в шесть раз превосходил заработок мужа, бдительно охранявшего свое свободное время. Бывшая супруга, естественно, предложила нашему герою освободить дачу, теперь совершенно для него чужую. Очень это было для него горько и обидно, так хотелось еще подышать кислородом, послушать шелест ручья, но – что делать! Пришлось упаковывать чемодан. Вспоминая об этом

драматическом эпизоде, он пишет: «Прощался с Рождеством навсегда. Не скрою: плакал». Вот когда прошибла, наконец, Александра Исаевича искренняя горячая слеза!..

Сопоставлением слез Толстого над горящим родным Севастополем, вынужденно оставленным врагу, и плача бывшего доцентского мужа над вынужденно оставляемой чужой дачей дает богатую пищу уму при размышлении на тему «Солженицын и мировая литература».

Загадка ареста Солженицына

Немало писателей, на долю которых выпали арест, тюрьма, ссылка, оставили об этом воспоминания, которые, естественно, весьма различны не только по реальным обстоятельствам, но и по тону, по эмоциональной окраске. Так, Достоевский рассказал о своем аресте с иронической усмешкой:

«Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 года) я воротился домой часу в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий симпатический голос: «Вставайте!»

Смотрю: квартальный или частный пристав, с красивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами.

– Что случилось? – спросил я, привставая с кровати.

– По повелению...

Смотрю: действительно, «по повелению». В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него и звякнула сабля...

«Эге? Да это вот что!» – подумал я. – Позвольте же мне... – начал было я. – Ничего, ничего! Одевайтесь. Мы подождем-с, – прибавил подполковник еще более симпатическим голосом.

Пока я одевался, они потребовали все книги и стали рыться; немного нашли, но все перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности: полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер, по его приглашению, стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стула на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было.

На столе лежал пятиалтынный, старый и согнутый. Пристав внимательно разглядывал его и, наконец, кивнул подполковнику.

– Уж не фальшивый ли? – спросил я.

– Гм... Это, однако же, надо исследовать... – бормотал пристав и кончил тем, что соединил его к делу.

Мы вышли. Нас провожали испуганная хозяйка и человек ее, Иван, хотя и очень испуганный, но глядевший с какою-то тупой торжественностью, приличною событию, впрочем, торжественностью не праздничною. У подъезда стояла карета; в карету сели солдат, я, пристав и подполковник; мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту у Летнего сада.

Там было много ходьбы и народу. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин статский, но в большом чине, принимал... беспрерывно входили голубые господа с разными жертвами.

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – сказал мне кто-то на ухо.

23 апреля был действительно Юрьев день...

Нас разместили по разным углам в ожидании окончательного решения, куда кого девать. В так называемой белой зале нас собралось человек семнадцать...

Вошел Леонтий Васильевич... (Дубельт).

Но здесь я прерываю мой рассказ. Долго рассказывать. Но уверяю, что Леонтий Васильевич был приятный человек».

В обстоятельствах повествования, в падении одного из «прозорливых господ» с печи, в «симпатическом» голосе другого, в «красивых бакенбардах» третьего, в иронической реплике по поводу пятиалтынного, в «тупой торжественности» Ивана, в упоминании о Юрьевом дне,

в добродушно-насмешливом комплименте шефу жандармов Дубельту, наконец, в нежелании продолжать рассказ – сколько во всем этом выдержки, достоинства, превосходства над «необыкновенными людьми», умения спокойно, с усмешкой взглянуть со стороны на то даже, что оказалось началом столь тяжких мук.

Могут сказать: «А велика ли цена выдержке, иронии, если дело-то было много лет назад?» Да, рассказ об аресте был записан Достоевским 24 мая 1860 года – спустя одиннадцать лет. Но...

Александр Солженицын поведал о своем аресте через двадцать восемь – срок почти в три раза больший, и тем не менее в его рассказе не только не оказалось выдержки, превосходства или иронии, но и обнаружилось нечто в известном смысле противоположное. И это тем более разительно, что ведь для Достоевского арест обернулся каменным мешком Алексеевского равелина (почти год!), изуверской, доведенной вплотную до команды «пли!» инсценировкой смертной казни, кандалами, тяжким каторжным трудом, смрадной казармой, тремя блохастыми досками на общих нарах, тараканами в щах, наконец, унижительной, бесправной солдатчиной, – а Солженицын ничего этого не изведal. И, однако же, вот каков его рассказ:

«Комбриг вызвал меня на КП, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, – и вдруг из напряженной в углу офицерской свиты выбежало двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекли комнату и четырьмя руками одновременно хватаясь за звездочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали:

– Вы арестованы!

И обожженный и проколотый от головы к пяткам, я не нашел ничего умней, как:

– Я? За что?..»

Тут многое удивительно. И то, что рассказчик отдает комбригу пистолет без малейших сомнений; и то, что с него сорвали ремень; и то, что арестовали его не потихому, не в укромной обстановке, как водится, а в присутствии целой «офицерской свиты», для которой устроили спектакль; и то, что контрразведчики не просто подошли и объявили об аресте, а «выбежали» сразу двое из «свиты» и тарзаньими «прыжками» пересекли комнату, словно опасаясь сопротивления уже обезоруженного человека, да еще при этом «драматически» заорали в две глотки. Право, эти «драматические» голоса гораздо менее достоверны, чем «симпатический» голос у Достоевского.

А какой тут еще и совершенно кошмарный фон! Оказывается, сцена ареста разыгралась в сложнейшей фронтовой обстановке: «окружили не то мы немцев, не то они нас». И все это совершалось «под дыханием близкой смерти»: «Дрожали стекла. Немецкие разрывы терзали землю метрах в двухстах». Жутко сказать, смерть дышит не то в лицо, не то в затылок, а этим мерзавцам из контрразведки хоть бы хны, им только бы сцапать Александра Исаевича, горемыку. Интересно еще и то, почему в столь ответственный момент сражения вокруг комбрига собралась целая свита офицеров, когда всем им надлежало быть на своих постах в боевых порядках рядом с солдатами. А как и зачем стали бы выводить из окружения, если это окружение, арестованного антисоветчика? Не лучше ли было вывести честных солдат?

Но есть и другая версия ареста. Ее мы находим в книге Натальи Решетовской «В споре со временем»: «Все произошло неожиданно и странно. 9 февраля (1945 года) старший сержант Соломин зашел к своему командиру с куском голубого бархата...» Одессит Илья Матвеевич Соломин за девять месяцев до этого с блатными документами и с таким же обмундированием поехал в Ростов и доставил Солженицыну в землянку законную жену. В ту пору, в той обстановке такой гешефт разве что только одессит и мог выполнить. И молодая супруга была доставлена и, по ее словам, чудесно провела в уютной землянке мужа несколько недель за переписыванием его рассказов, за чтением у камелька «Жизни Матвея Кожемякина» Горького и за другими еще более увлекательными делами. А Соломин с конца семидесятых годов живет в США.

Итак, он зашел к своему командиру с куском голубого бархата. Что же дальше? «Я сказал ему, – передает Решетовская слова Соломина, – что у меня ведь все равно никого нет. Давайте пошлем в Ростов Наташе, блузка выйдет...» Как видим, ни о каком окружении, ни о каком дыхании близкой смерти и речи нет. Командир и его ординарец заняты спокойным и самым обычным в те дни делом: судачат, как использовать кусок трофейного бархата. Дело-то было в Восточной Пруссии.

Соломин продолжал: «В этот момент вошли в комнату двое. Один говорит: «Солженицын Александр Исаевич? Вы нам нужны». Какая-то сила толкнула меня выйти следом. Он уже сидел в черной «эмке». Посмотрел на меня, или мне показалось, таким долгим взглядом... Его увезли. Больше я его не видел». Такова бархатная версия ареста: ни тарзаньих прыжков, ни хватания в четыре руки, ни воплей «Вы арестованы!» Все тихо, деловито, обыденно.

«Сам не знаю почему, – закончил рассказ Соломин, – побежал я к его машине. Там стоял ящик из-под немецких снарядов. Раскрыл. Книжки... Перевернул обложку на одной, смотрю – портрет Гитлера».

Вот вам и первая загадка солженицынского ареста: какой версии верить – авторской или той, что рассказали ординарец и супруга арестованного? Железной или бархатной? Уместно заметить, что такие загадки и дальше часто встречаются в биографии нашего героя. Например, с июля 1947 года до мая 1950-го он находился в спецтюрьме «Марфино» в районе Останкино. Вдруг, рассказывает с его слов Н. Решетовская, «19 мая «совершенно неожиданно» муж уехал из Марфино. Писал, что не думал, что это произойдет так скоро, что ему очень хотелось «прожить там до будущего лета». Желание вполне понятное, ибо это была весьма привилегированная тюрьма.

«Обстоятельства шаг за шагом ускоряли отъезд и сделали его неизбежным», – писал он мне», – продолжает бывшая жена. Но если так, если «шаг за шагом», то, во-первых, почему же ранее говорилось о полной неожиданности «отъезда»? Во-вторых, что это за «обстоятельства»? в чем их суть? какого они характера? Неизвестно. Тайна. А ведь именно они, выходит, оказались причиной «отъезда». Такова первая версия.

«В другом письме, написанном уже не мне, – читаем дальше у Решетовской, – он объяснил свой отъезд тем, что просто перестал работать». Это вторая версия. Человека просто выставили за безделье и саботаж. Но тогда непонятно, почему он уверял жену, будто уехал «вполне по-хорошему».

«Мне известна еще одна версия Солженицына по поводу того же, сообщенная им Леониду Власову, – вспоминает жена. – Он оказался жертвой спора двух начальников, которые «не поделили его между собой», и старший, наделенный властью, послал его «на такую муку»... Очень красивая версия, но она решительно противоречит второй: кому нужен бездельник? кто захочет затевать спор из-за саботажника? Кроме того, в этой тюрьме, являвшейся научно-исследовательским институтом, занимались секретными проблемами связи, а Солженицын никогда не имел к ним никакого отношения по причине полной неосведомленности в них, – чего ж из-за такого спеца спорить?

Итак, перед нами уже не две, как в случае с арестом, а три совершенно разные версии одного и того же события, и в отличие от версий ареста все они принадлежат самому Солженицыну, рассказаны им трем разным людям. Столь многогранен, сложен и духовно богат этот человек.

Какой же версии верить? Последняя из них, как уже сказано, выглядит не менее красиво, чем легенда о гении древности: «Спорили семь городов за честь быть отчизной Гомера...» Но, увы, она совершенно неубедительна, ибо наш Гомер в вопросах связи ни бэ ни мэ. Весьма легковесна и вторая версия: уж где-где, а в тюрьме-то, даже в самой привилегированной и либеральной, есть средства заставить работать обнаглевшего лодыря. Остается третья, все объясняющая какими-то таинственными «обстоятельствами», нарастающими шаг за шагом. Скорее

всего тут-то собака и зарыта. Эта версия появилась первой, а первый порыв, как известно, почти всегда правдив или близок к этому. А то, что человек ни сразу, ни потом не считал возможным объяснить суть «обстоятельств» даже родной жене, говорит об их серьезности. Словом, загадка локализована, однако осталась не раскрыта.



Александр Солженицын вскоре после первого ареста. 1940-е гг.

«Ведь есть же люди, которым так и выстилает гладенько всю жизнь, а другим – все перекромсано. И говорят – от человека самого зависит его судьба. Ничего не от него»
(Александр Солженицын)

Но, между прочим, различия в версиях, как было с версиями ареста, в иных случаях не столь уж и важны. Здесь для понимания человеческой сути действующих лиц гораздо содержательнее различие между характерами их рассказов о происшедшем. В самом деле, как много говорит нам непохожесть спокойно-иронического, добродушно-обыденного рассказа Достоевского на рассказ Солженицына то истерически взвинченный, то величественный и жуткий, подобно картине Карла Брюллова «Последний день Помпеи» с ее поистине близким дыханием смерти.

К слову сказать, различие между двумя рассказами еще и в том, что Достоевский не только не перетрусил, но даже и не удивился тому, что за ним пришли, а Солженицын в страхе, который не забыл и двадцать восемь лет спустя, как букашка, «обожженный и пронзенный от головы к пяткам», оторопело воскликнул: «За что?» Так вот, за что же его арестовали? Ведь это главное, а не обстоятельства ареста и не рассказ о нем. И здесь нас ждут новые еще более увлекательные загадки.

Как известно, Достоевский был арестован за активное участие в революционно-демократическом кружке М.В. Петрашевского, и произошло это по доносу.

В давней статье «Литгазеты» о Солженицыне говорилось: «Он был осужден по обвинению в антисоветской деятельности». Темпераментная Лидия Чуковская, великая почитательница нового таланта, не могла безропотно пропустить такое ужасное обвинение в адрес своего кумира и тотчас воскликнула: «Какое право, моральное и юридическое, имеет газета публично заговаривать о не совершенном им преступлении?!» И в доказательство полной невиновности означенного кумира перед советской властью сослалась на предисловие к одному из изданий «Ивана Денисовича» в 1963 году, где было сказано: «Арестован по ложному доносу». Солженицын, болезненно внимательный ко всему, что о нем пишут, читал, конечно, это предисловие заранее. Но Достоевский мог назвать своего доносчика: Антонелли. А он, и все его почитатели, и архивы КГБ за пятьдесят лет так и не назвали доносчика. В чем же дело? И был ли доносчик-то?

Капитан второго ранга Бурковский, находившийся вместе с нашим героем в Экибастузском лагере и даже послуживший ему в «Иване Денисовиче» прототипом для образа кавторанга Буйновского, говорил Т. Ржезачу: «Солженицын рассказывал мне, что он на фронте попал в окружение, стал пробиваться к своим и оказался в плену. Его посадили якобы за то, что он сдался». Однако достоверно известно, что ни в каком плену, кроме плена своих литературно-политических фантазмагорий, Александр Исаевич никогда не был. И все же в «Архипелаге» он настаивает именно на этой версии, причислив себя к тем, кто, вернувшись из плена, попал в лагеря «за одно то, что все-таки остались жить». Такова первая авторская версия. Но, как всегда, у него есть и запасная:

«Я арестован за переписку с моим школьным другом». За переписку! За одну лишь чистую любовь к эпистолярному жанру. Тут нельзя не вспомнить некоего Баклушина из «Записок» Достоевского. Герой, от лица которого ведется там повествование, спрашивает его, за что он угодил на каторгу. «За что? Как вы думаете, Александр Петрович, за что? – переспросил Баклушин. – Ведь за то, что влюбился!» Собеседник едва сдержал улыбку: «Ну, за это еще не пришлют сюда». Тогда жертва любви несколько уточнил обстоятельства: «Правда, я при этом деле (т. е. при небесной влюбленности-то! – В.Б.) одного немца из пистолета пристрелил». И тут же искренне добавил: «Да ведь стоит ли ссылать из-за немца, посудите сами!»

В случае с Солженицыным тоже был свой «немец» – «критика Сталина», содержащаяся в переписке с другом Николаем Виткевичем. В многочисленных устных и письменных заявлениях, например в письме Четвертому съезду писателей в мае 1967 года, он долго будет твердить, что арестован именно за это. Многие станут горячо сочувствовать ему: ну, в самом деле, можно ли человека лишать свободы за одну лишь бескорыстную любовь к писанию писем да к нелюбимой критике! И никто не вспомнил о Баклушине.

А суть-то дела вот в чем. Солженицын уверяет: «Наше (с моим однодельцем Николаем Виткевичем) впадение в тюрьму носило характер мальчишеский. Мы переписывались с ним во время войны и не могли, при военной цензуре, удержаться от почти открытого выражения своих политических негодований и ругательств, которыми мы поносили Мудрейшего из Мудрых». Позже делает такое добавление: «Мы с Кокой совсем были распоясаны. Нет, мы не писали прямо «Сталин» и «Ленин», но...» И приводил грязные издевательские прозвища.

Тут надо отметить два важных момента. С одной стороны, Виткевич сказал Ржезачу, что никакой равноценной двусторонней переписки подобного содержания не велось, а были только письма Солженицына этого рода и устные разговоры с ним при встрече в июле 43-го года. «Я всегда полагал, – заметил при этом Виткевич, – что то, о чем мы с Саней говорили, останется между нами. Никогда и никому я не говорил и не писал о наших разговорах».

С другой стороны, в дальнейшем Солженицын признался, что похожие письма он посылал не одному Виткевичу, а «нескольким лицам»: «Своим сверстникам и сверстницам я дерзко и почти с бравадой выражал в письмах крамольные мысли». Таких адресатов оказалось с полдюжины. Один из них, приятель школьной и студенческой поры Кирилл Симонян, впоследствии главный хирург Советской Армии, рассказывал: «Однажды, это было, кажется, в конце 1943 или в начале следующего года, в военный госпиталь, где я работал, мне принесли письмо от Моржа (школьное прозвище друга. – В.Б.). Оно было адресовано мне и Лидии Ежерец, жене, которая в то время была со мной. В этом письме Солженицын резко критиковал действия Верховного командования и его стратегию. Были в нем резкие слова и в адрес Сталина».

Солженицын уверяет, что его адресаты отвечали ему почти тем же. Но это не так. Симонян рассказывал: «Мы ответили ему письмом, в котором выразили несогласие с его взглядами, и на этом дело кончилось». Такого же характера ответ послал и Л. Власов, знакомый морской офицер. Другие, как Виткевич, просто промолчали в ответ. Итак, человек написал и послал не одно письмишко с какой-то эмоциональной антисталинской репликой, а много писем по разным адресам, и в них – целая политическая концепция, в соответствии с которой поносил не только Сталина, но и Ленина. Почти через тридцать лет признает: «Содержание наших писем давало по тому времени полновесный материал для осуждения нас обоих». А еще позже, находясь уже за границей, проявив все-таки большую самокритичность, чем бедолага Баклушин, скажет в выступлении по французскому телевидению: «Я не считаю себя невинной жертвой. (Мог бы добавить: «в отличие от Лидии Чуковской». – В.Б.) К моменту ареста я пришел к весьма уничтожающему выводу о Сталине. И даже со своим другом мы составили письменный документ о необходимости смены советской системы».

Спрашивается, что оставалось делать сперва работникам военной цензуры, прочитавшим кучу «крамольных писем» Солженицына, а потом – сотрудникам контрразведки, прочитавшим еще и помянутый «документ», в котором речь-то шла не о системе Станиславского, – что оставалось им делать, если они хотели оставаться цензорами и контрразведчиками, а не отставными балеринами. Где, когда существовала государственно-политическая система, которая на составителей подобных «документов» взирала бы равнодушно? Все это усугублялось еще и тем, что Сталин являлся Верховным Главнокомандующим армии, а его критик Солженицын – армейским офицером, рассылавшим сверстникам и сверстницам на фронте и в тылу письма, направленные на подрыв авторитета Верховного Главнокомандования. В любой армии, в любой стране подобные действия офицера в военное время, на фронте будут расценены не

иначе как военное и государственное преступление в пользу врага. Тем более, если враг еще находится на родной терзаемой земле. Нет, совершенно прав этот товарищ, когда говорит: «Я не считаю себя невинной жертвой». Какая уж тут невинность...

И тем не менее, называя свой арест «впадением в тюрьму», Солженицын старается внушить нам, что это «впадение» носило совершенно случайный, «мальчишеский» характер. Да, конечно, дескать, виноват, но уж очень был простодушен, наивен и открыт: «Когда я потом в тюрьмах рассказывал о своем деле, то нашей наивностью вызывал только смех и удивление. Говорили мне, что других таких телят и найти нельзя. И я тоже в этом уверился». Ну, а потом захотел уверить и нас: что, мол, с меня взять – теленок! Хоть и бодался с дубом. Тут мы подходим к главной загадке солженицынского ареста.

С целью убедить нас в своей наивности находчивый автор выискал историческую параллель: «Читая исследования о деле Александра Ульянова, узнал, что они попались на том же самом – на неосторожной переписке». Действительно, член террористической группы Пахомий Андреюшкин послал из Петербурга в Харьков слишком откровенное письмо своему другу студенту Ивану Никитину, и оно было перехвачено полицией. Вот, дескать, еще когда среди противников режима телята водились. Как же после этого не поверить в случайность солженицынского «впадения в тюрьму»?

Да, все вроде так: параллель, сходство. Но, присмотревшись внимательней, нетрудно увидеть кое-какое различие. Начать хотя бы с того, что Андреюшкину был всего 21 год, а Солженицыну шел уже 27-й, т. е. первый-то действительно почти мальчик – студент, мало что в жизни еще повидавший, а второй – человек, за плечами которого все-таки уже университет, два курса ИФЛИ, работа в школе, военное училище, офицерское звание, командирская должность, фронт. Первый еще вполне мог быть достаточно неопытным и наивным, но откуда этим трогательны качествам взяться у второго? К тому же в 1887 году в России царил мир, военной цензуры, которая проверяла бы всю корреспонденцию, не существовало, и Андреюшкин, естественно, мог рассчитывать, что его письмо не прочтает никто, кроме адресата; у Солженицына же, который прекрасно знал о всеобщей военной цензуре, была полная уверенность в обратном. Кроме того, Андреюшкин писал из большого города в город тоже не маленький, он имел возможность бросить письмо в любой почтовый ящик столицы и, конечно, понимал, что это обстоятельство, в случае худого оборота дела, сильно затруднило бы розыск отправителя письма, да и обратного адреса он на конверте не написал, в итоге его искали целых пять недель; Солженицын не располагал роскошным выбором почтовых ящиков и отделений связи: письма на фронте мы отдавали в руки почтальону подразделения, который относил их всегда на одну и ту же ППС (полевая почтовая станция). Надо думать, при таких условиях установить авторство писем, если предположить, что они были без подписи, а это едва ли так, не представляло слишком сложной задачи. Наконец, Андреюшкин писал своему единомышленнику, и, ясное дело, у него были все основания рассчитывать на понимание и на тайну со стороны адресата; у Солженицына же дело обстояло совсем наоборот: никто из его адресатов (кроме Виткевича, видимо) не являлся его единомышленником в вопросах о Сталине, о действиях Верховного Главнокомандования, тем более – о советской системе. И это тоже было ему известно.

Кстати, упоминающийся морской офицер Л. Власов, пославший отрицательный ответ на крамольное письмо, фигура для всей этой истории чрезвычайно показательная. Солженицын даже и не знал его как следует, они случайно познакомились в поезде Ростов – Москва в марте 1944 года при возвращении из отпуска на фронт, потом обменялись несколькими письмами – и все. И вот с одномоментным вагонным попутчиком Солженицын делится мыслями, за которые в те дни и в его положении совсем не трудно было угодить за решетку! Ведь если бы даже письмо незамеченным проскочило цензуру, то сам адресат мог оказаться человеком, который сообщил бы о нем куда следует. Разве одно это не поразительная загадка!

Дозировка смелости

И тут следует сказать об одной весьма характерной особенности Солженицына, которая делает всю историю его ареста еще более загадочной.

Уж раз мы вспомнили Достоевского (а его постоянно вспоминают как чуть ли не духовного собрата нашего героя), то можно заметить, что он, как уже говорилось, был человеком страсти, порыва, его жизнь изобилует импульсивными, необдуманними, рискованными поступками, нередко приводившими к беде. А Солженицын – человек системы, он ничего не делает просто так, наобум, как правило, у него все обдумано, взвешено, спланировано, скалькулировано.

И ведь это всю жизнь, с юных лет!

Вот просто комический случай. Перед высылкой из страны Солженицына задержали и повезли на ночь в Лефортовский изолятор. О чем же думает он, сидя в машине? Да опять планирует: «Как бы мне выйти (из машины в Лефортове) пооскорбительней для них», т. е. для сопровождающих. Каким образом выход из машины может быть оскорбительным для кого-то, мы не знаем.

Спал он в изоляторе плохо: терзали мучительные раздумья. О чем может терзаться неожиданно арестованный человек? О малых детях, о жене, о прерванном деле, о неизвестном будущем... Нет, нашего узника мучит совсем не это. Он напряженно размышлял о том, как ему вести себя завтра, когда в камеру войдет начальство: вставать навстречу или нет? Запланировал: не встану! «Уж мне-то теперь – что терять? Уж мне-то – можно, упереться. Кому ж еще лучше меня?» Действительно, ведь уже нобелевский лауреат, и на Западе наверняка подняли уже невероятный шум. Да, он не встанет. Он покажет себя этим держимордам! Утвердив диспозицию завтрашнего сражения, заснул. Но вот и утро, в двери гремит ключ. Нобелиат просыпается и решительно садится на кровать. Дверь открывают – нобелиат храбро сидит. Входит полковник и еще кто-то. Нобелиат продолжает отчаянно сидеть. Полковник приближается. Нобелиат, очертя голову, сидит. Полковник говорит: «Почему не встаете? Я начальник изолятора». И что же? Медленно, нехотя, совсем не так, как ныне резвые члены правительства и президентского Совета при появлении полковника Ельцина, но отрывает Александр Исаевич свое седалище от матраса, встает, выпрямляется...

Какой основательный и твердый был планчик, а – лопнул! Мы поймем душевное состояние нашего героя, если вспомним его чистосердечное признание: «Терпеть не могу, когда внешние обстоятельства ломают мой план». Особенно, конечно, если эти обстоятельства имеют звание полковника КГБ...

Так вот, спрашивается, мог ли человек, который всю жизнь моделировал и планировал все вплоть до объяснений в любви и манипуляций своим седалищем, не думать, не предвидеть, не понимать, чем обернется для него столь опасное дело, как крамольные письма, которые адресаты получают в конвертах, украшенных в пути государственной отметкой: «Просмотрено военной цензурой»? По нашему разумению, нет, не мог. А можно ли допустить, что сей хомо сапиенс, пускаясь на такое дело, не ставил перед собой определенную цель, не планировал последствий, не моделировал дальнейший ход событий? Мы этого допустить не в силах, но твердого ответа на загадку о цели у нас нет, и мы можем лишь предположить тот ответ, ту разгадку, к которой пришел профессор К. Симонян, человек, близко знавший нашего героя на протяжении, кажется, всей жизни.

«Письмо было таким, – вспоминал Симонян о «крамольном послании» Солженицына, – что, если бы оно было написано не нашим приятелем Моржом, мы приняли бы его за провокацию. Именно это слово пришло нам обоим с женой в голову. Посылать такие письма в конверте со штампом «Просмотрено военной цензурой» мог или последний дурак, или провокатор».

Мы знаем, что Солженицын не дурак. Дальше Симонян говорил, что письмо решительно противоречило всему облику их приятеля – его извечной осторожности, трусости и «даже его мировоззрению, которое нам было хорошо известно».

Действительно, мировоззрение Солженицына в ту пору – это задуманный им роман с директивным названием «Люби революцию!». Это строки из письма жене, написанного из училища в Костроме в 1942 году в первые дни ноября, когда приближались «Санины любимые праздники», и он пребывал в полной безопасности: «Летне-осенняя кампания заканчивалась. С какими же результатами? Их подведет на днях в своей речи Сталин. Но уже можно сказать: сильна русская стойкость! Два лета толкал эту глыбу Гитлер руками всей Европы. Не столкнул! Не столкнет и еще два лета!.. Что принесет нам эта зима? Если армия найдет возможность повторить прошлогоднее наступление, да еще в направлении Сталинград – Ростов, – могут быть колоссальные результаты. Обратное взятие Ростова – достаточный итог для всей зимней кампании – для фрицев на Дону, для фрицев на Кавказе, для фрицев в Берлине».

Как видим, здесь не только нет никакой критики Верховного Главнокомандования и Сталина, а, наоборот, – полное удовлетворение ходом войны и твердая уверенность в наших будущих успехах. А ведь положение-то было еще крайне тяжелым: враг стоял в двухстах километрах от столицы, хозяйничал на Кавказе, шли тяжелые бои в Сталинграде. В этих условиях ничуть не удивительной была бы и критика в адрес руководства страны и армии, однако никакой критики нет.

Но вот прошло всего около года. Этот год был временем наших великих побед, огромных успехов: Сталинград, изгнание врага с Кавказа, Курско-Орловская битва, фронт отодвинут от Москвы, освобожден Киев... И вдруг на фоне этих грандиозных достижений нашего строя, его руководства, армии старший лейтенант Солженицын начинает поносить Верховное командование, лично Сталина и даже добирается до Ленина. В чем дело? Ведь в ту пору наших солдат, полководцев и Верховного Главнокомандующего хвалили не только Рузвельт и Черчилль («Великий воин Сталин...»), но и генерал Деникин. Даже такой заматерелый противник советской власти, как Бунин, в те дни писал: «Вот до чего дошло! Сталин летит в Персию, и я в тревоге, как бы с ним чего не случилось...» А Солженицын... Тогда, может быть, он оказался в антисоветской, антисталинской среде? Чушь. Это была патриотическая армейская среда. Может, наконец, он пережил какую-то личную драму, резко изменившую его мировоззрение? Ничего подобного. Он исправно служил, помыкал солдатами, повышался в звании, получил два ордена, писал и метал в Москву бесчисленные рассказы... Так в чем же дело?

Солженицын говорит о себе прекрасно: «Я давно привык к мысли о смерти. Я не боюсь за свою жизнь. Моя жизнь была в их руках». Прямо поставив однажды вопрос «Трус ли я?», он пришел к твердому выводу, что нет, не трус, даже смельчак, пожалуй. В доказательство этого говорит: «Я оставался вполне хладнокровен, выводя батарею из окружения и еще раз туда возвращался за покалеченным газиком». Веско. Только что же это за «окружение» такое, прости господи, если из него можно без боя выйти, потом беспрепятственно вернуться туда и опять выйти, как ни в чем не бывало? И случилось-то это прозрачное окружение, по рассказу, в январе 45-го, когда немцам было уж так не до окружений, давал бы только бог ноги.

Кроме того, говорит Солженицын, «я совался в прямую бомбежку в открытой степи». Тоже впечатляет. Только, во-первых, фронтовой путь героя ни через какие степи не пролегал. Во-вторых, ведь «соваться» можно и от безвыходности положения. А еще был случай, продолжает храбрец, однажды «решился я ехать по проселку, заведомо заминированному противотанковыми минами». Заведомо? Ну, Александр Исаевич, расскажите это тому, кто не знает Фому. Впрочем, ведь не говорит, на чем ехал, а если ехать на велосипеде или на осле, то это вполне безопасно: противотанковые срабатывают лишь под действием большой тяжести. Словом, доводы Солженицына в пользу своего фронтового бесстрашия несколько сомнительны.

Но надо отдать должное человеку: в ряде случаев он признает, что струсил, смалодушничал, сдрейфил... П.П. Семенов-Тянь-Шаньский писал, что Достоевский не только «мог увлекаться чувствами негодования и даже злобою при виде насилия, совершаемого над униженными и оскорбленными», но и «в минуты таких порывов был способен выйти на площадь с красным знаменем». Именно в таком состоянии был писатель, когда узнал, как жестоко прогнали однажды сквозь строй безвестного фельдфебеля Финляндского полка. Только узнал! От кого-то. Сам не видел.

А Солженицын рассказывает, что летом 44-го года в Белоруссии своими глазами видел, как сержант избивал кнутом пленного. Мало того, пленный зывал о помощи именно к нему, к офицеру. И что же пережил, как поступил сей гуманист «при виде насилия над униженными и оскорбленными»? Ведь он молод, здоров, вооружен, в капитанских погонах и может просто зыкнуть, гаркнуть, приказать какому-то там сержантику. Но нет, почему-то решает, что перед ним не просто сержант, а особист, и не просто пленный, а власовец, и «вдруг этот власовец какой-нибудь сверхзлодей?» И вот итог: «Я струсил защищать власовца (гипотетического. – В.Б.) перед особистом (теоретическим. – В.Б.), я ничего не сказал и не сделал, я прошел мимо, как бы не слыша».

Может быть, мужественней, тверже держался Солженицын во время следствия? Увы, сам пишет: «Я себя только оплевывал». И если бы одного себя! Признает, что и других «обрызгал». А в устах этого человека одна брызга уж никак не меньше хорошего ушата. Нет, не имеет он права повторить вслед за Достоевским: «Я вел себя перед судом честно, не сваливал своей вины на других... Я не сознавался во всем и за это наказан был строже». А Солженицын наказан был мягче – получил на два года меньше, чем его однодевец Виткевич, хотя тот играл лишь вторую роль. Да и как могло быть иначе, если Солженицын изо всех сил старался разжалобить следователя.

Не слишком храбро держал себя Солженицын и в заключении. Об этом свидетельствует не только тот факт, что весь срок он отбыл без единого дисциплинарного наказания, но и то хотя бы, что его безо всякого нажима завербовали в секретные лагерные осведомители, и он стал сексотом с кличкой «Ветров».

Ну а тот уже известный нам пассаж в Лефортовском изоляторе, когда нобелевский лауреат вытянулся по стойке «смирно» перед полковником КГБ? В этом тоже вроде бы не слишком много мужества. И таких эпизодов в жизни Солженицына не счесть. Да взять его поведение хотя бы уже теперь, после возвращения. Кого он осмелился задеть в своих критических буйствах? Гайдара, Жириновского, Горбачева и Бессмертных. Это довольно разные фигуры, но у них есть одно важное для обличителя свойство: все они не у власти и потому совершенно безопасны. А тронуть Ельцина или Путина, Касьянова или Чубайса, Грызлова или Патрушева он, правдолюбец, не посмеет ни при какой погоде.

Что же получается в итоге? С одной стороны, никем не подтвержденные и весьма сомнительные уверения самого автора э том, что он большой храбрец. С другой стороны – многочисленные конкретные и совершенно достоверные факты, свидетельствующие об обратном.

Сам он о своем поведении пишет: «Я обнаглел»... «Я так обнаглел»... «Я обнаглел в своей безнаказанности»... Писатель нашел более точное слово для своей характеристики, чем слова «мужество», «храбрость», «героизм», которые поневоле напрашиваются по отношению к нему, когда слушаешь его рассказы о фронтовых подвигах.

А наглость, как известно, трусости не противоречит, это родные сестры. И К. Симонян, настаивая на трусости своего давнего приятеля, разумеется, не отказывает ему и в наглости, справедливо полагая, что первая из них – старшая сестра, скорее даже мать второй. И вот его вывод: воочию увидев на фронте смерть, ощутив ее всей кожей, Солженицын «начал испытывать панический страх» и, не решившись на реальный самострел, прибегнул к самострелу

моральному: с помощью потока «крамольных» писем сам, безо всякого Антонелли, спровоцировал свой арест, чтобы оказаться в тылу.

«Вне контекста» эта мысль представляется невероятной. В самом деле, разве на фронте были одни только бесстрашные герои? Нет, конечно. Встречались и робкие люди, и прямые трусы, но что-то не слыхивали мы до сих пор, чтобы кто-то из них организовывал свой арест, дабы попасть в тыл. Правда, нечто подобное известно нам из Ильфа и Петрова: их персонаж Берлага в страхе перед партийной чисткой упрятал себя в сумасшедший дом. Есть похожие примеры и из самой жизни: по некоторым данным, Троцкий после революции 1905 года сам «впал» в тюрьму во избежание худшего. А Солженицын, как не раз могли мы убедиться, человек не менее редкостного и своеобразного склада, чем Троцкий и Берлага, даже если их помножить одного на другого. И не зря один его биограф утверждал: «Всегда, когда кажется, что его действия находятся в вопиющем противоречии со здравым смыслом, за изображаемым безумием стоит абсолютно трезвый расчет».

Могут сказать: «Хорошо, допустим, хитроумный замысел с письмами мог иметь место у столь своеобразного человека. Но в этом был бы смысл лишь в начале или в разгар войны. А какой же «трезвый расчет» в том, чтобы осуществить его в самом конце? Ведь Солженицына арестовали всего за три месяца до него!» Да, конечно, но поразительная оригинальность Александра Исаевича сказалась, в частности, и в том, что он рисовал себе совсем иную картину конца войны, чем все мы и на фронте и в тылу. Когда в 1944 году наша армия изгнала оккупантов с нашей земли, он писал жене: «Мы стоим на границах войны Отечественной и войны Революционной». То есть был совершенно уверен, что, освободив родную землю, разгромив фашистов, мы рванем дальше, может быть, аж до Гибралтара. Пожалуй, такая мысль не могла прийти в голову не только Берлаге, но и Троцкому с его идеей перманентной революции.

И это была не мимолетная блажь в интимном письме. Как известно, Солженицын нередко наделяет своих персонажей собственными солженицынскими мыслями, чувствами, даже манерами. И порой до такой степени, что в итоге получается не литературный персонаж, а достоверный образ самого автора. Например, со страниц книги «Ленин в Цюрихе» перед нами встает вовсе не Владимир Ильич, а доподлинный Александр Исаевич с его фанатичностью, злобностью, подозрительностью, мелочностью и другими яркими качествами только ему принадлежащего набора. Так вот, в «Архипелаге» есть некий Юра, однокамерник писателя. Он в начале весны 45-го года уверял, что «война отнюдь не кончается, что сейчас Красная Армия и англо-американцы врежутся друг в друга, и только тогда начнется настоящая война». Та самая, Революционная. До этого, видите ли, по мнению солженицынского единомышленника и камерного стратега, была не война, а игрушки. «Настоящая» война, разумеется, особенно опасна для жизни, и от нее особенно желательно увиливать.

А вот еще некий Петя из того же «Архипелага». Это уже 1949 год. Петины идеи еще более интересны для нас и характерны для автора. Его во время оккупации угнали в Германию, сотрудничал с немцами, после войны попал во Францию и там воровал да продавал машины. Когда поймали на этом, обратился в наше посольство: желаю, мол, вернуться на горячо любимую родину. Рассуждал так: во Франции за воровство могут дать лет десять, и их придется отсидеть сполна, в Советском Союзе за сотрудничество с немцами не диво огрести все двадцать пять, «но уже падают первые капли третьей мировой войны», в которой Союз, по его прикидке, не продержится и трех лет, поэтому прямой расчет вернуться на родину и сесть в советскую тюрьму. Разве не похоже на то, что своего хитроумного Петю в 49-м году Солженицын наделил одним из вариантов своего собственного, по Симоняну, плана-расчета 44-45-го годов: чем подвергаться большому риску погибнуть в огне Революционной войны, сяду-ка лучше в тюрьму; срок могут дать большой, но в новой войне Советский Союз быстро рухнет – и я на свободе.

Разумеется, нелегко поверить, что план достижения своей личной безопасности и свободы человек строил в расчете на военное поражение родины, но вот же сам Солженицын рисует нам образы именно таких людей. А когда один из них, помянутый Юрий, уверял, что война с англо-американцами кончится легким разгромом Красной Армии, у автора-повествователя тут же вырвался вопрос: «И, значит, нашим освобождением?» Да, армия разгромлена, страна погибла, но зато – свобода!

Он не видел ничего страшного, катастрофического не только в нашем поражении от англо-американцев, как его персонажи Юра да Петя, но и в столь же гипотетическом поражении от немцев. Подумаешь, говорил он, а не персонажи, «придется вынести портрет с усами и внести портрет с усиками». Да еще елку придется наряжать не на Новый год, а на Рождество. Всего и делов! Так что писатель был в этом вопросе, пожалуй, даже впереди своих не слишком патриотичных героев.

Итак, многие обстоятельства и факты убеждают, что версия К. Симоняна о том, будто Солженицын отправил себя в неволю собственноручно, выросла не на пустом месте. Можно привести и еще один довод в пользу достоверности его версии. Дело в том, что и на тот случай, если «настоящая» война вопреки надеждам-планам все-таки не началась бы или Советский Союз вопреки чаяниям оказался бы не побежденным, а победителем, и на сей раз, как всегда, у Александра Исаевича был предусмотрен запасной вариант: амнистия! Действительно, амнистия непременно бывает после победного окончания войны.

В первом же письме из заключения, вспоминает Н. Решетовская, ее муж «пишет о своей уверенности, что срока 8 лет не придется сидеть до конца», будет амнистия. И в самом деле, 7 июля 1945 года она была объявлена, и весьма широкая, но, увы, осужденных по статье 58-й не коснулась. Тем не менее не только «жажда амнистии», но и уверенность в ней не оставляют калькулятора. «Вся надежда, – пишет он жене уже в августе 1945 года, – на близкую широкую амнистию». И снова – в сентябре: «Основная надежда – на амнистию по 58-й статье. Думаю, что она все-таки будет». Прошел год со дня ареста, и в марте 1946 года – опять: «Я со 100 % достоверностью все-таки убедился, что амнистия до 10 лет была подготовлена осенью 45-го года и была принципиально одобрена нашим правительством. Потом почему-то отложена». Только отложена – он никак не может смириться с тем, что грубо ошибся в своих расчетах.

«Идут месяцы, – вспоминает Решетовская. – Чуть ли не в каждом письме – новые надежды». 9 мая 1946 года, в первую годовщину Победы, писал: «Все же еще с недельку-другую возможный для нее срок». Полтора года был твердо уверен, что амнистия вот-вот грянет. Лишь после этого убедился в своем просчете и приступил к выполнению нового варианта: подает апелляцию о пересмотре дела; получив отказ, обращается с просьбой о смягчении наказания... Странно, однако, и этот вариант не сработал. Почему? еще одна загадка. Ведь он так умеет, когда надо, приbedниться, расписать свои страдания, показать себя жертвой. Так почему же? Может быть, потому, что был очень полезен именно там, где находится. В качестве ловкого и деятельного стукача Ветрова.

«Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне...»

Солженицын сам приводит убедительные примеры достойного и мужественного поведения многих людей перед лицом следствия и суда. Так, рассказывает, что в 1922 году Н.А. Бердяев «не унижался, не умолял, а изложил им твердо те религиозные и нравственные принципы, по которым не принимает установившейся в России власти и – освободили»⁹⁰.

В 1929 году известный ученый-горняк П.А. Нальчикский, 54 лет от роду, явил, по словам автора, подлинный образец «героической» тюремной стойкости, «не подписав никакой чуши»⁹¹. В 1935 году некая безымянная московская старушка несколько дней прятала у себя человека, в котором она в отличие от властей видела только служителя церкви. После его исчезновения ее многократно допрашивали: «К кому он поехал?» Она спокойно отвечала: «Знаю. Но не скажу»⁹². В 1941 году знаменитый биолог Н.И. Вавилов, будучи на 55-м году жизни, выдержал множество допросов, но ни на них, ни на суде «не признал обвинений»⁹³!

Можно было бы выписать еще многие примеры, можно бы напомнить о гордом и героическом поведении на суде и в тюрьме С.В. Косиора, Н.В. Крыленко, П.П. Постышева, Я.Э. Рудзутака, В.Я. Чубаря и некоторых других видных деятелей партии, и прав Солженицын, когда восклицает: «А сколько таких неузнанных случаев!»⁹⁴. Но его-то собственное положение было гораздо надежнее и безопаснее, чем всех названных здесь лиц, и позволяло ему вести себя совсем не так, как он вел. Да и сам Солженицын с полной уверенностью признает: «Я, конечно, мог держаться тверже»⁹⁵. Так в чем же дело? Оказывается, вот: «Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне в первые недели»⁹⁶. Но ведь это-то и есть трусость. Если молодой здоровый парень, будучи арестован, в течение нескольких недель не может очухаться, то иначе, как трусом, его никак не назовешь. Достоевский-то в подобном, вернее, даже в более тяжелом положении испытывал совсем иные, прямо противоположные чувства. Никакого затмения ума, ни малейшего упадка духа. Наоборот! Уже узнав о суровом приговоре, о кандалной сибирской каторге, он писал брату Михаилу: «Я не уныл и не упал духом... Не уныть и не пасть – вот в чем жизнь, в чем задача ее... Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохранию дух мой и сердце в чистоте».

⁹⁰ «Архипелаг», т. 1, с. 139.

⁹¹ Там же, с. 379.

⁹² Там же, с. 139.

⁹³ Там же, т. 2, с. 308.

⁹⁴ Там же, с. 628.

⁹⁵ «Архипелаг», т. 1, с. 142.

⁹⁶ Там же.



Осужденный Солженицын в ссылке на одном из перегонов. Конец 1940-х гг.

*«Работа – она как палка, конца в ней два: для людей делаешь – качество дай, для начальника делаешь – дай показуху»
(Александр Солженицын)*

Но думается, что свою затменность и упадок Александр Исаевич здесь несколько преувеличивает, и не совсем бескорыстно, а в некотором расчете на то, что если, мол, человек не в своем уме, то какой с него спрос! Магическое индульгенционное действие справки из психдиспансера всем известно. Факты убеждают, что ум нашего героя был в эту пору не в таком уж беспросветном затмении, а дух – может, и упал, но не до нуля. Ведь как тонко, обду-

манно и последовательно вел Солженицын свою роль на допросах, стараясь убедить следователя в «простоте, приbedненности, открытости до конца»: «Я сколько надо было, раскаивался, и сколько надо было, прозревал от своих политических заблуждений»⁹⁷. Иначе говоря, в течение всего следствия не только умело унижался, но и ловко отказывался от своих взглядов. Объяснение своему поведению у него очень простое: «Не надо следователя сердить, от этого зависит, в каких тонах он напишет обвинительное заключение»⁹⁸. Вот в этом-то, пожалуй, и состоит главное.

Но что бы сказал Достоевский о столь унижительном лицедействе, об отказе от своих взглядов ради «тонов» обвинительного заключения, которое грозило только несколькими годами неволи! Да, «только», ибо над Достоевским-то висела совсем иная угроза, а он, однако же, говорил: «Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния... Большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений... То дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, – представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищавшим, мученичеством, за которое многое нам простится!»

Солженицын вещал по французскому телевидению: «Я давно привык к мысли о смерти. Я не боюсь за свою жизнь. Моя жизнь была в их руках». Красиво сказано, но жизнь автора этих красот «была в их руках» только в его воображении. А на Семеновском-то плацу 22 декабря 1849 года в восьмом часу утра дело обстояло несколько иначе: там был разыгран спектакль, непохожий на нынешние телепостановки, в том числе и французские. «Приговор смертной казни расстрелянием, прочитанный нам предварительно, прочтен был вовсе не в шутку, – вспоминал Достоевский, – почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти». Да и как было не верить, если все свидетельствовало о предстоящей казни: и батальоны солдат, построенные в каре, и священник с крестом, и эшафот, обтянутый черным, и бой барабанов, и бесстрастный голос аудитора: «...Отставного инженер-поручика Федора Достоевского, двадцати семи лет, за участие в преступных замыслах, за распространение частного письма⁹⁹, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение к распространению, посредством домашней литографии, сочинений против правительства подвергнуть смертной казни расстрелянием».

⁹⁷ Там же, т. 1, с. 144–145.

⁹⁸ «Архипелаг», с. 150.

⁹⁹ Знаменитого письма Белинского Гоголю (1847).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.